




АНГЛИЙСКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А. Жуковского

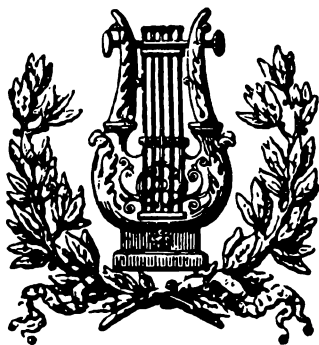
RUDOMINO

РУДОМИНО



Издательство
«РАДУГА»



АНГЛИЙСКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А.Жуковского



Издательство
«РУДОМИНО»



ОАО
Издательство
«РАДУГА»

МОСКВА
2000

ББК 84.4Вл
А64

Составление *К. Н. Атаровой, А. А. Гугнина*
Предисловие и комментарии *К. Н. Атаровой*
Художник *А. Ю. Никулин*

Английская поэзия в переводах В. А. Жуковского:
А64 Сборник/Составл. *К. Н. Атаровой, А. А. Гугнина*. –
М.: Издательство «Рудомино»; ОАО Издательство «Радуга», 2000. – С параллельным текстом на англ. яз. – 368 с.

В сборнике представлен полный корпус переводов В. А. Жуковского из английской поэзии, включающий и ранее не публиковавшиеся в собраниях сочинений русского поэта незавершенные переводы из Мильтона, Грея, Саути, Байрона...

Читатель сможет познакомиться с оригиналами переводимых стихов и в полной мере оценить мастерство Жуковского-переводчика.

Издание сопровождается вступительной статьей и расширенными филологическими комментариями.

Издание осуществлено при поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (программа «Государственная поддержка издательств»)

На фронтисписе — В. А. Жуковский.
Литография О. Эстеррейха. 1820 г.



Содержание

К. Атарова. Вместо предисловия 9

John Milton			
<i>From "Paradise Lost"</i>	16	Грехопадение, плод запрещенный...»	17
John Dryden			
Alexander's Feast; or The Power of Music	18	Пиршество Александра, или Сила гармонии	19
Alexander Pope			
<i>From "Eloisa to Abelard"</i>	28	Послание Элоизы к Абеляру	29
James Thomson			
<i>From "The Seasons"</i>			
A Hymn	34	Гимн	35
David Mallet			
Edwin and Emma	42	Эльвина и Эдвин	43
Thomas Gray			
Elegy Written in a Country Church-Yard	50	Сельское кладбище <i>Элегия</i>	51
<i>From "The Progress of Poesy"</i>			
<i>A Pindaric Ode</i>	60	Успехи поэзии <i>Пиндарическая ода</i> <i>Вольный перевод с английского</i> <i>из Грея</i>	61

Oliver Goldsmith			
<i>From "The Hermit"</i>			
Edwin and Angelina		Пустынник	65
<i>A Ballad</i>	64		
<i>From "The Deserted Village"</i>			
	74	Опустевшая деревня	75
Thomas Percy			
A Song	82	К Нине	
		<i>Романс</i>	83
Robert Burns			
John Barleycorn		Исповедь	
<i>A Ballad</i>	86	батистового платка	87
Walter Scott			
The Eve of Saint John		Замок Смальгольм, или Иванов вечер	93
	92		
The Gray Brother	104	Покаяние	
		<i>Баллада</i>	105
<i>From "Marmion"</i>			
<i>Canto Second</i>		Суд в подземелье	
The Convent	116	<i>Повесть</i> (Отрывок)	117
Robert Southey			
Rudiger	154	Адельстан	155
A Ballad, Shewing how an Old Woman Rode Double, and Who Rode before Her	166	Баллада, в которой описыва- ется, как одна старушка ехала на черном коне. вдвоем и кто сидел впереди	167
Lord William	178	Варвик	179
<i>From "Roderic, the Last of the Goths"</i>		Родриг	189
Roderic and Romano	188		
Donica	190	Доника	191
God's Judgment on a Bishop	198	Суд Божий над епископом	199
Queen Orraca, and the Five Martyrs of Morocco	204	Королева Урака и пять мучеников	205
Mary the Maid of the Inn	214	Две были и еще одна	
Jaspar	222	(Фрагмент)	215

Thomas Campbell			
Lord Ullin's Daughter	234	Уллин и его дочь	235
Thomas Moore			
<i>From "Lalla Rookh"</i>		Пери и Ангел	
Paradise and the Peri	238	<i>Повесть</i>	239
George Gordon Byron			
Stanzas for Music	272	Песня	273
The Prisoner of Chillon	276	Шильонский узник	
		<i>Повесть</i>	275
Комментарии <i>К. Атаровой</i>			303







Вместо предисловия

Жуковский погрузился в Англию телом и духом: доучивается английскому языку, изучает исторические, статистические книги о ней и едва ли не сел на портвейн.

П. А. Вяземский

Переводы для языка то же, что путешествия для образования ума.

В. А. Жуковский

В сознании читателей Жуковский прежде всего переводчик античной и немецкой поэзии, однако роль английской поэзии в его творческом развитии весьма значительна.

Первое стихотворение, принесшее ему литературную славу, было переводом с английского – «Сельское кладбище» Т. Грея. О значении этого перевода для формирования Жуковского как поэта вспоминает он сам много лет спустя, во время своего пребывания в Швейцарии: «Хочу у подошвы швейцарских гор посидеть на том низком холмике, на коем стоял наш Мишенский дом с своей смиренной церковью, на коем началась моя поэзия Греевой элегией»¹.

Перевод этот стал не только вехой на творческом пути Жуковского, но и, по выражению В. С. Соловьева, «Родиной русской поэзии». Соловьев так оценил его: «Несмотря на иностранное происхождение и на излишество сентиментальности в некоторых местах, «Сельское кладбище» может считаться началом истинно человеческой поэзии в России»². Много лет

¹Уткинский сборник: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904, с. 109.

²Вл. Соловьев. Стихотворения. 5-е изд. М., б.г., с. 144.

спустя, во время поездки в Англию в 1839 г., Жуковский посетил то место, где была создана Греем его знаменитая элегия, сделал несколько зарисовок¹ и (уже в третий раз!) перевел Грееву элегию – теперь гекзаметром. Так что можно сказать, что обращение к английской литературе до некоторой степени обрамляет многообразную переводческую деятельность Жуковского.

Обращение к Грею не исчерпывает раннего интереса Жуковского к английской поэзии. В 1802 г. Андрей Тургенев пишет о своем ближайшем друге, что он «окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце – жар поэзии»².

Как переводчик прежде всего английской поэзии представит Жуковский и в посвященном ему стихотворении Воейкова:

И тебе, орел поэзии!
Подле Грея, подле Томсона
Место на небе готовится³.

Жуковский размышлял над английским национальным характером и литературой, осмыслял ее развитие в целом, обнаруживая при этом большую эрудицию в области английской и шотландской поэзии. Об этом, в частности, свидетельствует запись из его тетради, предназначенной для занятий с великой княгиней Александрой Федоровной. Запись эта, по предположению исследователей, представляет собой выжимки из работ зарубежных историков литературы вкупе с собственными размышлениями поэта:

«Английская поэзия

Германский характер (англ. сакс. <нрзб.>) отличен от кельтского; завоевание норманнов в 1066 – презрение к Англии и их языку. Франц<узский> язык царит, преобразован – корень остался англ<ийский> – норманно-англосаксонский язык. (Кризис). Соединение франц<узской> литературы с

¹Эти зарисовки использованы в оформлении настоящего издания.

²Цит. по: А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904, с. 50.

³А. Ф. Воейков. К Жуковскому // Вестник Европы, 1813, ч. 68, № 5–6, с. 29.

англи<йской>. Из франц<узских> романсов английские. Сверх того минстрели поющие истор<ические> романсы. Баллады. Поэзия любима знаменитыми и народом. – Национальная ненависть слила народ воедино. – Шотландская поэзия наравне с английской. Южная шотл<андская> и север<ная> английская на границе. Отечество баллад. Роберт Брюс. – Песни Оссиановы в северной Шотландии. Песни и Баллады истинная национальная поэзия Шотландцев и англичан и испанцев. Voldsgesang. Брюс и Валлас. – Песни неподражаемы, – изображение народа не знак<омого> с религией, доблестного и храброго. Чувство трогательное, не столь пламенное как в испанск<ой>. Исторические происшествия. Георг Дуглас, Монтгомери и Перси. Минстрели. Волшебные: альфы, карлы; восточные и северные вымыслы в одно слитые. – Романтическое умственное (описательная поэзия). – Шекспир не классический писатель в том смысле, как Софокл; не имеет отделки, но верный изобразитель природы и жизни, без принуждения – без всяких теорий. В его творениях сперва человек, потом гражданин или герой. – Переход к французск<ому> вкусу. – Драйден. Поп. – Возвр<ащение> к древнему. Перси. Вальтер Скотт. Борнс¹.

В библиотеке Жуковского английская литература была представлена так широко и многообразно, что полный перечень книг занял бы не один десяток страниц². Помимо сочинений тех поэтов, к творчеству которых Жуковский обращался в своих переводах³, в круг чтения Жуковского входили произведения Шекспира, С. Джонсона, Свифта, Филдинга, М. Эджуорт, сочинения по философии и эстетике – Э. Шёфтсбери, Х. Блера, Э. Бёрка, Д. Юма, А. Смита, А. Фергюсона, книги по истории Англии и Шотландии, журналы, издаваемые Дж. Аддисоном и Р. Стилем, подшивки «Эдинбургского обозрения» и даже путеводители по Озерному краю.

Воздействие английской поэзии находим и в оригинальном творчестве Жуковского.

¹Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. II. Томск, 1984, с. 210.

²См.: Библиотека В. А. Жуковского: Описание. Сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981.

³См. об этом подробнее в комментариях к наст. изд.

В творческих планах молодого поэта остался неосуществленным замысел описательной поэмы «Весна в духе «Времен года» Дж. Томсона¹.

Обдумывая эпическую поэму «Владимир», Жуковский составляет список авторов, с творчеством которых необходимо ознакомиться; в нем главенствуют англичане – Вальтер Скотт, Байрон, Томас Мур.

Влияние Оссиана ощутимо и в «Песне барда над гробом славян-победителей»², и в «Эоловой арфе», где воссоздана меланхолическая тональность макферсоновских поэм, из которых взяты некоторые имена собственные (Морвен, Минвана) и образ вещей арфы. Однако в «Эоловой арфе» сильны и более поздние, романтические веяния, что было подмечено еще В. Г. Белинским: «Жуковский первый перевел своим крепким и звучным стихом несколько (впрочем, очень мало) английских баллад и написал в их духе свою («Эолову арфу»), чем верно передал романтический характер английской поэзии»³. Новейшие исследователи уточняют: на создание «Эоловой арфы» существенно повлияла поэма Вальтера Скотта «Дева Озера», которую тщательно изучал и даже конспектировал русский поэт⁴.

В стихотворении «Человек» не только эпитафия взят из «Ночных дум» Эдварда Юнга, но и вся тональность навеяна поэмой этого английского писателя-сентименталиста.

Переключка с Томасом Муром ощутима в оригинальных стихах Жуковского («Лалла Рук», «Явление поэзии в виде Лалла Рук», «Пери», «Песнь бедуинки», «Мечта»).

Близость к Р. Саути оригинальных баллад Жуковского столь очевидна, что Ф. Булгарин позволил себе в письме к Пушкину 1825 г. сказать, что «Жуковский плохой поэт – подражатель Сутея»⁵.

¹См. подробнее: Н. Ж. В е т ш е в а. Замысел поэмы «Весна в творческой эволюции Жуковского // Жуковский и русская культура. Л., 1987, с. 112–125.

²См. подробнее: В. И. Р е з а н ъ в. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пг., 1916, вып. 2, с. 392–402.

³В. Г. Б е л и н с к и й. Собр. соч. в 9 тт. М., 1979, т. V, с. 86.

⁴См.: Э. М. Ж и л я к о в а. В. Скотт в библиотеке В. А. Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. III. Томск, 1988, с. 309.

⁵А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч. М.–Л., 1937–1959, т. XIII, с. 168.

До настоящего времени внимания исследователей не привлекало «альбомное» стихотворение Жуковского «История батистового платка», которое является трагическим переложением хрестоматийного стихотворения Роберта Бёрнса «Джон Ячменное Зерно».

Освоение и преобразование западноевропейской (в частности, английской) поэзии в оригинальных произведениях Жуковского сосуществовало и с обратным процессом: богатая творческая личность русского поэта неизбежно уделяла его переводам нечто от своей уникальной поэтической индивидуальности. Об этом писал Н. В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтера Скотта, четвертое у Байрона, и все – вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и всунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? – не предстанет пред глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равными. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность – это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. <...> Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт»¹.

По количеству имен переведенных Жуковским поэтов с англичанами могут поспорить только немцы.

Однако есть основания предполагать, что творческие планы поэта были еще обширнее. Так, на форзаце одной из книг библиотеки Жуковского сохранился список, который, как и многие другие похожие списки, вероятнее всего, указывает на творческие планы поэта. В «английской» части списка значится:

«Из Мильтона

– Шекспира – Макб<ет>. Отелло.

– Томсона –

¹Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., в 14 тт. М., 1952, т. 8, с. 377.

- Попа
- Гольдсмита. Desert<ed> vill<age>
- Вальтер Скотта. Татий
- Байрона – Манф<ред>.
- IV Песнь. Сон.
- Мура
- Саути – Родриг
- Вордсворта – The travail
- Крабба →¹

Многое из этих замыслов было воплощено в творчестве поэта, но многое осталось и неосуществленным.

Однако новейшие работы показывают, что в ряде случаев Жуковский пошел дальше простого называния интересовавших его произведений. Последние разыскания, предпринятые томскими исследователями, обнаружили многие воплощенные лишь вчерне наброски переводов Жуковского из зарубежной поэзии, в частности английской. К ним относится перевод 19 стихов «Потерянного рая» Мильтона (см. наст. изд., с. 17), не публиковавшихся до настоящего времени в собраниях сочинений Жуковского.

Обнаружен и перевод первых пяти стихов 49-й строфы 4-й песни «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрона (см. наст. изд., с. 362). Английские исследователи Кеннет и Уоррен Оберы обнаружили источник романа «К Нине» – стихотворение английского фольклориста и литератора Томаса Перси (текст оригинала публикуется в наст. изд. впервые). Однако два других стихотворения – «К Эдвину» и вторая часть диптиха «Памятники», – тоже имеющие подзаголовок «С английского», ждут своих комментаторов.

Да и архив Жуковского еще недостаточно изучен, и почти с уверенностью можно сказать, что исследователей на этом пути ожидают интересные открытия.

К. Атарова

¹См.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. II, с. 484.

АНГЛИЙСКАЯ
ПОЭЗИЯ
в переводах
В.А.Жуковского



John Milton

FROM "PARADISE LOST"

Book I

Of Man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing, heavenly muse, that on the secret top
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That shepherd, who first taught the chosen seed,
In the beginning how the heavens and earth
Rose out of chaos: or, if Sion hill
Delight thee more, and Siloa's brook that flow'd
Fast by the oracle of God; I thence
Invoke thy aid to my adventurous song,
That with no middle flight intends to soar
Above the Aonian mount, while it pursues
Things unattempted yet in prose or rhyme.

.....
Say first, for Heaven hides nothing from thy view...
.....

what in me is dark
Illumine, what is low raise and support.



* * *

Грехопадение, плод запрещенный
От древа, коим смерть была на землю
Приведена и с тратою Эдема
Все бедствия людей, доколь великий
Спаситель не пришел отдать их небу.
Воспой, святая муза, ты издр<евле>
На высотах Синая и Горева
Вдохнувшая все песни пастырю,
Который первым избранникам рая
Поведал, как в начале создал небо
И землю Бог. И если холм сионский
Тебе угоден или силоамский
Пророчеств ключ, приди, прошу,
И оживи мой голос вдохновенья...
Не человеческим полетом я
С высот Аний хочу парить, но <петь>
О недоступном знанью человека.
.....
Ты ведаешь все тайны неба, все пути.
.....
Ты освети, что низко, подними и поддержи.



John Dryden

ALEXANDER'S FEAST; OR, THE POWER OF MUSIC

'Twas at the royal feast, for Persia won
By Philip's warlike son:
Aloft in awful state
The godlike hero sate
On his imperial throne:
His valiant peers were plac'd around,
Their brows with roses and with myrtle bound:
So should desert in arms be crown'd.
The lovely Thais by his side
Sat, like a blooming Eastern bride,
In flow'r of youth and beauty's pride.
Happy, happy, happy pair!
None but the brave,
None but the brave,
None but the brave deserves the fair.

Timotheus, plac'd on high
Amid the tuneful quire,
With flying fingers touch'd the lyre:
The trembling notes ascend the sky,
And heavenly joys inspire.
The song began from Jove;
Who left his blissful seats above.
(Such is the power of mighty Love!)

ПИРШЕСТВО АЛЕКСАНДРА,
ИЛИ СИЛА ГАРМОНИИ

По страшной битве той, где царь Персиды пал,
Оставляя рать, венец и жизнь в кровавом поле,
 Возвышен восседал,
 В сиянье на престоле,
Красою бог, Филиппов сын.
Кругом — вождей и ратных чин;
Венцами роз главы увиты:
Венец есть дар тебе, сын брани знаменитый!
Таиса близ царя сидит,
Любовь очей, востока диво;
Как роза — юный цвет ланит,
И полон страсти взор стыдливый.
 Блаженная чета!
 Величие с красою!
 Лишь бранному герою,
Лишь смелому в боях наградой красота!

И зрелся Тимотей среди поющих клира;
Летали персты по струнам;
Как вихорь, мощный звон стремился к небесам;
Звучала радостью лира.

От Зевса песнь ведет певец:
«О власть любви! Богов отец,
Свои покинув громы, с трона,
Под дивным образом дракона,

A dragon's fiery form belied the god,
Sublime on radiant spheres he rode,
 When he to fair Olympia press'd,
And stamp'd an image of himself, a sovereign of the world.
The listening crowd admire the lofty sound,
A present deity! they shout around:
A present deity, the vaulted roofs rebound.
 With ravish'd ears,
 The monarch hears,
 Assumes the god,
 Affects to nod,
And seems to shake the spheres.

The praise of Bacchus then the sweet musician sung,
 Of Bacchus ever fair, and ever young:
 The jolly god in triumph comes;
 Sound the trumpets, beat the drums;
 Flush'd with a purple grace
 He shows his honest face.
Now give the hautboys breath; he comes, he comes!
 Bacchus, ever, fair and young,
 Drinking joys did first ordain:
 Bacchus' blessings are a treasure,
 Drinking is the soldier's pleasure;
 Rich the treasure,
 Sweet the pleasure;
Sweet is pleasure after pain.

 Sooth'd with the sound, the king grew vain,
 Fought all his battles o'er again,
And thrice he routed all his foes, and thrice he slew the slain.
 The master saw the madness rise;
 His glowing cheeks, his ardent eyes;
 And, while he heav'n and earth defied,
 Chang'd his hand, and check'd his pride.

Нисходит в мир; дугами вьет
Огнечешуйчатый хребет;
В нем страсти пышет вожделье;
К Олимпии летит, к грудям ее приник,
Обвил трикраты стан — и вот Зевесов лик!
Вот новый царь земле! Зевесово рожденье!»

И строй внимающих восторгов распален;
Клич шумный: царь наш бог! И стар и млад воспрянул.
И звучно: царь наш бог! — по сводам отзыв грянул.
Царь славой упоен;
Зрит звезды под стопою;
И мыслит: он — Зевес;
И движет он главою,
И мнит — подвигнул свод небес.

Хвалою Бахуса воспламенились струны:
«Грядет, грядет веселый бог,
Всегда прекрасный, вечноюный.
Звучи, кимвал; раздайся, рог;
Наш Бахус светлый, сановитый;
Как пурпур, пламенны ланиты;
Звучи, труба! грядет, грядет!
Из кубков пена с шумом бьет;
Кипит в ней пламень сладострастный.
Пей, воин! дар тебе сосуд.
О, Вакха дар бесценный!
Вином воспламененный,
Забудь, сын брани, бранный труд».

И царь, волнуем струн игрою,
В мечтах сзывает рати к бою;
Трикраты враг сраженный им сражен;
Трикраты пленный брошен в плен.

Певец зрит гнева пробужденье
В сверкании очей, во пламени ланит;
И небу и земле грозящу ярость зрит...
Он струны укротил; их заунывно пенье;

He chose a mournful Muse,
Soft pity to infuse:
He sung Darius great and good,
By too severe a fate,
Fallen, fallen, fallen, fallen,
Fallen from his high estate,
And welt'ring in his blood;
Deserted, at his utmost need,
By those his former bounty fed,
On the bare earth expos'd he lies,
With not a friend to close his eyes.
With downcast look the joyless victor sate,
Revolving in his alter'd soul
The various turns of chance below;
And now and then a sigh he stole,
And tears began to flow.

The mighty master smil'd to see
That love was in the next degree:
'Twas but a kindred sound to move;
For pity melts the mind to love.
Softly sweet, in Lydian measures,
Soon he soothed his soul to pleasures,
War, he sung, is toil and trouble;
Honour but an empty bubble;
Never ending, still beginning,
Fighting still, and still destroying:
If the world be worth thy winning,
Think, oh think it worth enjoying!
Lovely Thais sits beside thee,
Take the good the gods provide thee.
The many rend the skies with loud applause;
So love was crown'd, but Music won the cause.
The prince, unable to conceal his pain,
Gaz'd on the fair
Who caused his care,

Едва ласкает слух задумчивый их глас,
И жалость на струнах смиренных родилась,
Он Дария поет: «Царь добрый! Царь великий!
Кто равен с ним?.. Но рок свой грозный суд послал;

Он пал, он страшно пал;

Нет Дария-владыки.

В кипящей зыблется крови;
От всех забыт в ужасной доле;
Нет в мире для него любви;
Хладеет на песчаном поле;
Где друг — глаза его смежить
И прахом сирую главу его покрыть?»

Сидел герой с поникшими очами;
Он мыслию прискорбной пробегал
Стези судьбы, играющей царями;
За вздохом вздох из груди вылетал,
И пролилась печаль его слезами.

И дивный песнопевец зрит,
Что жар любви уже горит
В душе, вкусившей сожаленья,—
И песнь разыграл он наслажденья:
«Проснись, лидийский брачный глас;
Проникни душу, пламень сладкий;
О витязь! жизнь — крылатый час;
Мы радость ловим здесь украдкой;
Летучей пены клуб златой,
Надутый пышно и пустой —
Вот честь, надменных душ забава;
Народам казнь героев слава.
Спешి быть счастлив, бог земной;
Таиса, цвет любви, с тобой;
К тебе ласкается очами;
В груди желанья тайный жар,
И дышит страсть ее устами.
Вкуси любовь — бессмертных дар».

Восстал от сонма клич, и своды восстенали:
«Хвала и честь любви! певцу хвала и честь!»

И полон сладостной печали,

And sigh'd and look'd, sigh'd and look'd,
Sigh'd and look'd, and sigh'd again,
At length, with love and wine at once oppress'd
The vanquish'd victor sunk upon her breast.

Now strike the golden lyre again:
And louder yet, and yet a louder strain.—
Break his bands of sleep asunder,
And rouse him, like a rattling peal of thunder,
 Hark, hark, the horrid sound
 Has rais'd up his head;
 As awak'd from the dead,
 And amaz'd, he stares around.
Revenge, revenge, Timotheus cries,
 See the Furies arise,
 See the snakes that they rear,
 How they hiss in their hair,
And the sparkles that flash from their eyes!
 Behold a ghastly band,
 Each a torch in his hand!
Those are Grecian ghosts, that in battle were slain,
 And unburied remain,
 Inglorious on the plain;
 Give the vengeance due
 To the valiant crew.
Behold how they toss their torches on high,
 How they point to the Persian abodes,
And glitt'ring temples of their hostile gods!
The princes applaud with a furious joy;
And the King seiz'd a flambeau, with zeal to destroy;
 Thais led the way,
 To light him to his prey,
And, like another Helen, fir'd another Troy.

Очей не может царь задумчивых отвесть
От девы, страстью распаленной;
Блажен своей тоской; что взгляд, то нежный вздох;
Горит и гаснет взор, желаньем напоенный,
И, томный, пал на грудь Таисы полубог.
Но струны грянули под сильными перстами,
Их страшный звон, как с треском падший гром;
Звучней, звучней... поднялся царь; кругом
Он бродит смутными очами;
Разрушен неги сладкий сон;
Исчезла прелесть вожделья,
И слух его разит тяжелый, дикий стон:
«Сын брани, мщенья! мщенья!
Покорствуй гневу Эвменид;
Се девы казни! страшный вид!
Смотри! смотри! меж волосами
Их змеи страшные шипят,
Сверкают грозными очами,
Зияют, жалами блестят...
Но что? Там бледных теней лики;
Воздушный полк на облаках;
Несутся... светочи в руках;
Их грозен вид; их взоры дики;
То воины твои... сраженным в битве нет
Последней дани погребенья;
Пустынный вран их трупы рвет,
И воют: мщенья! мщенья!
Бежит от их огней пожар по небесам;
Бедой на Персеполь их гневны очи блещут;
Туда погибель мещут;
К мечам! Бойницы в прах! Огню и дом и храм!..»

И сонмы всколебались к брани;
На щит и меч упали длани;
И царь погибельный светильник воспалил.
О горе, Персеполь! грядет владыка сил;
Таиса, вождь герою,
Елена новая, зажжет другую Трою.

Thus, long ago
Ere heaving bellows learn'd to blow,
While organs yet were mute,
Timotheus to his breathing flute
And sounding lyre
Could swell the soul to rage, or kindle soft desire.
At last divine Cecilia came,
Inventress of the vocal frame;
The sweet enthusiast, from her sacred store,
Enlarg'd the former narrow bounds,
And added length to solemn sounds.
With nature's mother-wit, and arts unknown before.
Let old Timotheus yield the price,
Or both divide the crown;
He rais'd a mortal to the skies:
She drew an angel down.



Так древней лиры глас — когда еще молчал
Органа мех чудесный —
Перстам послушный, оживлял
В душе восторг, и гнев, и чувства жар прелестный.
Но днесь другую жизнь гармонии дала
Сесилия, творец органа.
Бессмертным вымыслом художница слила
Протяжность с быстротой, звон лиры, гром тимпана
И пенье нежных флейт. О древних лет певец,
Клади к ее стопам заслуг твоих венец...
Но нет! вы равны вдохновеньем!
Им смертный к небу вознесен;
На землю ангел низведен
Ее чудесным сладкопеньем!



Alexander Pope

FROM
"ELOÏSA TO ABELARD"

In these deep solitudes and awful cells,
Where heavenly-pensive contemplation dwells,
And ever-musing melancholy reigns;
What means this tumult in a Vestal's veins?
Why rove my thoughts beyond this last retreat?
Why feels my heart its long-forgotten heat?
Yet, yet I love!—From Abelard it came,
And Eloïsa yet must kiss the name.

Dear fatal name! rest ever unrevealed,
Nor pass these lips in holy silence sealed:
Hide it, my heart, within that close disguise,
Where mixed with God's, his loved Idea lies:
O write it not my hand—the name appears
Already written—wash it out, my tears!
In vain lost Eloïsa weeps and prays,
Her heart still dictates, and her hand obeys.

Relentless walls! whose darksome round contains
Repentant sighs, and voluntary pains:
Ye rugged rocks! which holy knees have worn;
Ye grotts and caverns shagged with horrid thorn!
Shrines! where their vigils pale-eyed virgins keep,
And pitying saints, whose statues learn to weep!

ПОСЛАНИЕ
ЭЛОИЗЫ К АБЕЛЯРУ

В сих мрачных келиях обители святой,
Где вечно царствует задумчивый покой,
Где, умиленная, над холодными гробами,
Душа беседует, забывшись, с небесами,
Где вера в тишине святыне слезы льет
И меланхолия печальная живет,—
Что сердце мирная весталки возмутило?
Что в нем потухший огонь опять воспламенило?
Какой волшебный глас, какой прелестный вид
Увядшую в тоске опять животворит?
Увы! еще люблю!.. Исчезни, заблужденье!
Сей трепет внутренний, сие души волнение
При виде милых строк знакомого руки,
Сие смешение восторга и тоски—
Не суть ли признаки любви непобежденной?
Супруг мой, Абельяр! О имя незабвенно!
Дерзну ль священный храм тобою огласить?
Дерзну ли с Творческим тебя совокупить,
Простертая в пыли, молясь пред алтарями?
О страшные черты! да смою их слезами!
Преступница! к кому, что смеешь ты писать?
Кого в обителях святыни призывать?
Небесный твой супруг во гневе пред тобою!
Творец, творец! смягчись! вотще борюсь с собою!
Где власть против любви? Чем сердце укротить?
Каким могуществом сей пламень потушить?

Though cold like you, unmoved and silent grown,
I have not yet forgot myself to stone.
All is not Heaven's while Abelard has part,
Still rebel nature holds out half my heart;
Nor prayers nor fasts its stubborn pulse restrain,
Nor tears for ages taught to flow in vain.

Soon as thy letters trembling I unclose,
That well-known name awakens all my woes.
Oh name for ever sad! for ever dear!
Still breathed in sighs, still ushered with a tear.
I tremble too, where'er my own I find,
Some dire misfortune follows close behind.
Line after line my gushing eyes o'erflow,
Led through a sad variety of woe:
Now warm in love, now withering in thy bloom,
Lost in a convent's solitary gloom!
There stern Religion quenched th' unwilling flame,
There died the best of passions, Love and Fame.

Yet write, oh write me all, that I may join
Griefs to thy griefs, and echo sighs to thine.
Nor foes nor fortune take this power away;
And is my Abelard less kind than they?
Tears still are mine, and those I need not spare,
Love but demands what else were shed in prayer;
No happier task these faded eyes pursue;
To read and weep is all they now can do.

Then share thy pain, allow that sad relief;
Ah, more than share it, give me all thy grief.
Heaven first taught letters for some wretch's aid,
Some banished lover, or some captive maid;
They live, they speak, they breathe what love inspires,
Warm from the soul, and faithful to its fires,
The virgin's wish without her fears impart,
Excuse the blush, and pour out all the heart,

О стены мрачные! о скорбных заточенье!
Пустыней страшный вид! лесов уединенье!
О дикие скалы, изрытые мольбой!
О храм, где близ мощей, с лампадой гробовой,
И юность и краса угаснуть осужденны!
О лики хладные, слезами орошенны!
Могу ль, подобно вам, в душе окаменеть?
Могу ль, огнем любви сгсрая, охладеть?
Ах, нет! не божество душой моей владеет!
Она тобой, тобой, супруг мой, пламенеет!
К тебе, мой Абеляр, с молитвами летит!
Тебя в жару, в тоске зовет, боготворит!..
Ах, тщетно рвать себя, вотще томить слезами!

Когда руки твоей столь милыми чертами
Мой взор был поражен — вся сладость прежних дней,
Все незабвенные часы любви твоей
Воскресли предо мной! О чувств очарованье!
О невозвратного блаженства воспоминанье!
О дни волшебные, которых больше нет!
Вотще, мой Абеляр, твой глас меня зовет —
Простись — навек, навек! — с погибшей Элоизой!
Во мгле монастыря, под иноческой ризой,
В кипенье пылких лет, с толь пламенной душой,
Томиться, увядать, угаснуть — жребий мой!
Здесь вера грозная все чувства умерщвляет!
Здесь славы и любви светильник не пылает!

Но нет!.. пиши ко мне! пиши! Соединим
Мучение мое с мучением твоим!
О мысль отрадная! о сладкое мечтанье!
С тобою духом жить! с тобой делить страданье!
Делить? Почто ж делить? Пусть буду я одна,
Мой друг, мой Абеляр, страдать осуждена!
Пиши ко мне! Писать — небес изобретенье!
Любовница в тоске, любовник в заточенье, —
Быть может, некогда нашли блаженство в нем!
Как сладко, разлучась, беседовать с пером!
Черты волшебные, черты одушевленны!
Черты, святым огнем любви воспламененны!
Им страстная душа вверяет жребий свой!
В них дева робкая с сердечной простотой

Speed the soft intercourse from soul to soul,
And waft a sigh from Indus to the Pole.

Thou knowst how guiltless first I met thy flame,
When Love approached me under Friendship's name;
My fancy formed thee of angelic kind,
Some emanation of th' all-beauteous Mind.
Those smiling eyes, attempering every ray,
Shone sweetly lambent with celestial day.
Guiltless I gazed; heaven listened while you sung;
And truths divine came mended from that tongue.
From lips like those what precept failed to move?
Too soon they taught me 'twas no sin to love:
Back through the paths of pleasing sense I ran,
Nor wished an Angel whom I loved a Man.
Dim and remote the joys of saints I see;
Nor envy them that heaven I lose for thee.



Все тайны пылких чувств, весь жар свой изливает!
В них все протекшее для сердца оживает!

Почто ж протекших дней ничто не возвратит?
Когда любовь твоя, принявши дружбы вид,
В небесной красоте очам моим явилась—
С какой невинностью душа моя пленилась!
Ты мне представился несмертным существом!
Каким твой взор сиял пленительным лучом!
Сколь был красноречив, любовью озаренный!
Земля казалась мне со мною обновленной!
Я в сладкой неге чувств, с открытою душой,
Без страха, все забыв, стояла пред тобой;
Ты с силой божества, с небесным убежденьем,
Любовь изображал всех благ соединеньем!
Твой глас доверенность во грудь мою вливал!
Ах! как легко меня сей глас очаровал!
В объятиях твоих, в сладчайшем испугленьи,
В непостижимом блаженства упоеньи,
Могла ль я небесам не предпочесть тебя!
Могла ли не забыть людей, творца, себя!



James Thomson

FROM "THE SEASONS"

A HYMN

These, as they change, Almighty Father, these
Are but the *varied* God. The rolling year
Is full of thee. Forth in the pleasing Spring
Thy beauty walks, thy tenderness and love.
Wide flush the fields; the softening air is balm;
Echo the mountains round; the forest smiles;
And every sense, and every heart, is joy.
Then comes thy glory in the Summer-months,
With light and heat refulgent. Then thy Sun
Shoots full perfection through the swelling year:
And oft thy voice in dreadful thunder speaks;
And oft at dawn, deep noon, or falling eve,
By brooks and groves, in hollow-whispering gales.
Thy bounty shines in Autumn unconfin'd,
And spreads a common feast for all that lives.
In Winter awful thou! with clouds and storms
Around thee thrown, tempest o'er tempest roll'd,
Majestic darkness! on the whirlwind's wing,
Riding sublime, thou bidst the world adore,
And humblest nature with thy northern blast.
Mysterious round! what skill, what force divine,
Deep felt, in these appear! a simple train,
Yet so delightful mix'd, with such kind art,
Such beauty and beneficence combin'd;
Shade, unperceiv'd, so softening into shade;
And all so forming an harmonious whole;
That, as they still succeed, they ravish still.
But wandering oft, with brute unconscious gaze,

ГИМН

О Боге нам гласит времен круговращенье,
О благодати его — исполненный им год.
Творец! весна — твоей любви изображение:
Воскреснули поля; цветет лазурный свод;
Веселые холмы одеты красотою;
И сердце растворил желаний тихий жар.
Ты в лете, окружен и зноем и грозою,
То мирный, благодостный, несешь нам зрелость в дар,
То нам благодворишь, сокрытый туч громадой.
И в полдень пламенный и ночи в тихий час,
С дыханием дубрав, источников с прохладой
Не твой ли к нам летит любви полный глас?
Ты в осень общий пир готовишь для творенья;
И в зиму, гневный Бог, на бурных облаках,
Во ужас облечен, с грозой опустошенья,
Паришь, погибельный... как дольный гонишь прах,
И вьюгу, и метель, и вихорь пред собою;
В развалинах земля; природы страшен вид;
И мир, оцепенев пред Сильного рукою,
Хвалебным трепетом творца благовестит.
О таинственный круг! каких законов сила
Слияла здесь красу с чудесной простотой,
С великолепием приятность согласила,
Со тьмою — дивный свет, с движением — покой,
С неизменяемым единством — измененье?
Почто ж ты, человек, слепец среди чудес?
Признай окрест себя Руки напечатленья,
От века правящей течением небес

Man marks not thee, marks not the mighty hand,
That, ever busy, wheels the silent spheres;
Works in the secret deep; shoots, steaming, thence
The fair profusion that o'erspreads the Spring:
Flings from the Sun direct the flaming day;
Feeds every creature; hurls the tempests forth;
And, as on Earth this grateful change revolves,
With transport touches all the springs of life.

Nature, attend! join every living soul,
Beneath the spacious temple of the sky,
In adoration join; and, ardent, raise
One general song! To him, ye vocal gales,
Breathe soft, whose Spirit in your freshness breathes:
Oh, talk of him in solitary glooms;
Where, o'er the rock, the scarcely waving pine
Fills the brown shade with a religious awe.
And ye, whose bolder note is heard afar,
Who shake th' astonish'd world, lift high to Heaven
Th' impetuous song, and say from whom you rage.
His praise, ye brooks, attune, ye trembling rills;
And let me catch it as I muse along.
Ye headlong torrents, rapid and profound;
Ye softer floods, that lead the humid maze
Along the vale; and thou, majestic main,
A secret world of wonders in thyself,
Sound his stupendous praise; whose greater voice
Or bids you roar, or bids your roarings fall.
Soft roll your incense, herbs, and fruits, and flowers,
In mingled clouds to him; whose Sun exalts,
Whose breath perfumes you, and whose pencil paints.
Ye forests bend, ye harvests wave, to him;
Breathe your still song into the reaper's heart,
As home he goes beneath the joyous Moon.
Ye that keep watch in Heaven, as Earth asleep
Unconscious lies, effuse your mildest beams,
Ye constellations, while your angels strike,
Amid the spangled sky, the silver lyre.
Great source of day! best image here below
Of thy Creator, ever pouring wide,
From world to world, the vital ocean round,

И строим мирных сфер из тьмы недостижимой.
Она весной красу низводит на поля;
Ей жертва дым горы, перунами дробимой;
Пред нею в трепете веселия земля.
Воздвигнись, спящий мир! внуши мой глас, создание!
Да грянет ваша песнь Чудесного делам!
Слиянные в хвалу, слиянны в обожанье,
Да гимн ваш потрясет небес огромных храм!..
Журчи к нему любовь под тихой сенью леса,
Порхая по листьям, душистый ветерок;
Вы, ели, наклонясь с седой главы утеса
На светлый, о скалу биющийся поток,
Его приветствуйте таинственную мглою; •
О нем благовести, крылатых бурей свист,
Когда трепещет брег, терзаемый волною,
И, сорванный с лесов, крутится клубом лист;
Ручей, невидимо журчащий под дубравой,
С лесистой крутизны ревуший водопад,
Река, блестящая средь дебрей величаво,
Кристаллом отразив на бреге пышный град,
И ты, обитель чуд, бездонная пучина,
Гремите песнь тому, чей бурь звучнейший глас
Велит — и зыбь горой; велит — и зыбь равнина.
Вы, злаки, вы, цветы, лети к нему от вас
Хвалебное с полей, с лугов благоуханье:
Он дал вам аромат, он вас кропит росой,
Из радужных лучей соткал вам одеянье:
Пред ним утихни, дол; поникни, бор, главой;
И, жатва, трепещи на ниве оживленной,
Пленяя шорохом мечтателя своим,
Когда он, при луне, вдоль рощи осребренной,
Идет задумчивый, и тень вослед за ним;
Луна, по облакам разлей струи золотые,
Когда и дебрь, и холм, и лес в тумане спят;
Созвездий лик, сияй средь тверди голубья,
Когда струнами лир превыспренных звучат
Воспламененные любовью серафимы;
И ты, светило дня, смиритель бурных туч,
Будь щедростию лик творца боготворимый,
Ему живописуй хвалу твой каждый луч...

On Nature write with every beam his praise.
The thunder rolls: be hush'd the prostrate world;
While cloud to cloud returns the solemn hymn.
Bleat out afresh, ye hills: ye mossy rocks,
Retain the sound: the broad responsive low,
Ye valleys, raise; for the Great Shepherd reigns;
And his *unsuffering* kingdom yet will come.
Ye woodlands all, awake: a boundless song
Burst from the groves! and when the restless day,
Expiring, lays the warbling world asleep,
Sweetest of birds! sweet Philomela, charm
The listening shades, and teach the night his praise.
Ye chief, for whom the whole creation smiles,
At once the head, the heart, and tongue of all,
Crown the great hymn! in swarming cities vast,
Assembled men, to the deep organ join
The long-resounding voice, oft breaking clear,
At solemn pauses, through the swelling base;
And, as each mingling flame increases each,
In one united ardour rise to Heaven.
Or if you rather chuse the rural shade,
And find a fane in every secret grove;
There let the shepherd's flute, the virgin's lay,
The prompting seraph, and the poet's lyre,
Still sing the God of Seasons, as they roll.
For me, when I forget the darling theme,
Whether the blossom blows, the Summer-ray
Russets the plain, *inspiring* Autumn gleams;
Or Winter rises in the blackening east;
Be my tongue mute, my fancy paint no more,
And, dead to joy, forget my heart to beat.

Should Fate command me to the farthest verge
Of the green earth, to distant barbarous climes,
Rivers unknown to song; where first the Sun
Gilds Indian mountains, or his setting beam
Flames on the Atlantic isles; 'tis nought to me;
Since God is ever present, ever felt,
In the void waste, as in the city full;

Се гром!.. Владыки глас!.. Безмолвствуй, мир смятенный,
Внуши... Из края в край по тучам гул гремит;
Разрушена скала; дымится дуб сраженный;
И гимн торжественный чрез дебри вдаль парит...
Утих... красуйся, луг... приветственное пенье,
Изникни из лесов; и ты, любовь весны —
Лишь полночь принесет пернатым усыпление
И тихий от холма восстанет рог луны —
Воркуй под сению дубравной, филомела.
А ты, глава земли, творения краса,
Наследник ангелов бессмертного удела,
Сочти бесчисленны созданья чуда
И в горнее пари, хвалой воспламененный.
Сердца, слиянны в песнь, летите к небесам;
Да грады восшумят, мольбами оглашенны;
Да в храмах с алтарей восстанет финиам;
Да грянут с звоном арф и с ликами органы;
Да в селах, по горам и в сумраке лесов
И пастыря свирель, и юных дев тимпаны,
И звучные рога, и шумный глас певцов
Один составят гимн и гул отгрянет: слава!
Будь, каждый звук, хвала; будь, каждый холм, алтарь;
Будь храмом, каждая тенистая дубрава, —
Где, мнится, в тайной мгле сокрыт природы царь,
И веют в ветерках душистых серафимы,
И где, возведши взор на светлый неба свод,
Сквозь зыблемую сеть ветвей древесных зримый,
Певец в задумчивом восторге слезы льет.

А я, животворим созданья красотою,
Забуду ли когда хвалебный глас мольбы?
О Неиспытанный! мой пламень пред тобою!
Куда б ни привела рука твоей судьбы,
Найду ли тишину под отческою сенью,
Беспечный друг полей, возлюбленных в кругу —
Тебя и в знойный день, покрытый роши тенью,
И в ночь, задумчивый, потока на берегу,
И в обиталищах страдания забвенных,
Где бедность и недуг, где рок напечатлел
Отчаянья клеймо на лицах искаженных,

And where he vital breathes, there must be joy.
When ev'n at last the solemn hour shall come,
And wing my mystic flight to future worlds,
I cheerful will obey: there, with new powers,
Will rising wonders sing: I cannot go
Where Universal Love not smiles around,
Sustaining all yon orbs, and all their suns;
From *seeming evil* still educing *good*,
And *better* thence again, and *better* still,
In infinite progression. But I lose
Myself in him, in Light ineffable;
Come then, expressive Silence, music his praise.



Куда б, влеком тобой, с отрадой я летел,
И в час торжественный полночного виденья,
Как струны, пробудясь, ответствуют перстам
И дух воспламенен восторгом песнопенья —
Тебя велю искать и сердцу и очам.
Постигнешь ли меня гонения рукою —
Тебя ж благословит тоски молящий глас;
Тебя же обрету под грозной жизни мглою.
Ах! скоро ль прилетит последний, скорбный час,
Конца и тишины желанный возвеститель?
Промчись, печальная неведения тень!
Откройся, тайный брег, утраченных обитель!
Откройся, мирная, отеческая сень!



David Mallet

EDWIN AND EMMA

Far in the windings of a vale,
Fast by a shelt'ring wood,
The safe retreat of Health and Peace,
An humble cottage stood:

There beauteous Emma flourish'd fair
Beneath a mother's eye;
Whose only wish on earth was now
To see her bless'd and die.

The softest blush that Nature spreads
Gave colour to her cheek;
Such orient colour smiles thro' heav'n
When vernal mornings break.

Nor let the pride of great-ones scorn
This charmer of the plains;
That sun who bids their diamonds blaze,
To paint our lily deigns.

Long had she fill'd each youth with love,
Each maiden with despair;
And though by all a wonder own'd,
Yet knew not she^{er} was fair;

Till Edwin came, the pride of swains!
A soul devoid of art;
And from whose eyes, serenely mild,
Shone forth the feeling heart.

ЭЛЬВИНА И ЭДВИН

В излучине долины сокровенной,
Там, где блестит под рощею поток,
Стояла хижина, смиренный
Покою уголок.

Эльвина там красавица таилась,—
В ней зрела мать подпору дряхлых дней
И только об одном молилась:
«Все блага жизни ей».

Как лилия была чиста душою,
И пламенел румянец на щеках —
Так разливается весною
Денница в облаках.

Всех юношей Эльвина восхищала;
Для всех подруг красой была страшна,
И, чудо прелестей, не знала
Об них одна она.

Пришел Эдвин. Без всякого искусства
Эдвинова пленяла красота:
В очах веселых пламень чувства,
А в сердце простота.

И заключен святой союз сердцами:
Душе легко в родной душе читать;
Легко, что сказано очами,
Устами досказать.

A mutual flame was quickly caught,
Was quickly too reveal'd;
For neither bosom lodg'd a wish
That Virtue keeps conceal'd.

What happy hours of home-felt bliss
Did love on both bestow!
But bliss too mighty long to last
Where Fortune proves a foe.

His sister, who, like Envy form'd,
Like her in mischief joy'd,
To work them harm, with wicked skill
Each darker art employ'd.

The father too, a sordid man!
Who love nor pity knew,
Was all-unfeeling as the clod
From whence his riches grew.

Long had he seen their secret flame,
And seen it long unmov'd;
Then with a father's frown at last
Had sternly disapprov'd.

In Edwin's gentle heart, a war
Of diff'ring passions strove;
His heart, that durst not disobey,
Yet could not cease to love.

Deny'd her sight, he oft behind
The spreading hawthorn crept,
To snatch a glance, to mark the spot
Where Emma walk'd and wept.

Oft, too, on Stanemore's wintry waste,
Beneath the moonlight shade,

О! сладко жить, когда душа в покое
И с тем, кто мил, начав, кончаешь день:
 Вдвоем и радости все вдвое...
 Но ах! они как тень.

Лишь золото любил отец Эдвина;
Для жалости он сердца не имел;
 Эльвине же дала судьбина
 Одну красу в удел.

С холодностью смотрел старик суровый
На их любовь — на счастье двух сердец.
 «Расстаньтесь!» — роковое слово
 Сказал он наконец.

Увы, Эдвин! В какой борьбе в нем страсти!
И ни одной нет силы победить...
 Как не признать отцовской власти?
 Но как же не любить?

Прелестный вид, пленительные речи,
Восторг любви — все было только сон;
 Он розно с ней! он с ней и встречи
 Бояться осужден.

Лишь по утрам, чтоб видеть след Эльвины,
Он из кустов смотрел, когда она
 Шла по излучине долины,
 Печальна и одна;

Или, когда являя месяц роги
Туманный свет на рощи наводил,
 Он, грустен, вдоль большой дороги
 До полночи бродил.

Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил среди крестов:
 Его тоске давало пищу
 Спокойствие гробов.

In sighs to pour his soften'd soul,
The midnight mourner stray'd.

His cheek, where health with beauty glow'd,
A deadly pale o'ercast;
So fades the fresh rose in its prime,
Before the northern blast.

The parents now, with late remorse,
Hung o'er his dying bed,
And weary'd Heav'n with fruitless vows,
And fruitless sorrow shed.

'Tis past!' he cry'd—'but if your souls
'Sweet mercy yet can move,
'Let these dim eyes once more behold,
'What they must ever love.'

She came; his cold hand softly touch'd,
And bath'd with many a tear:
Fast-falling o'er the primrose pale,
So morning-dews appear.

But, oh! his sister's jealous care,
A cruel sister she!
Forbade what Emma came to say,
'My Edwin! live for me.'

Now homeward as she hopeless wept
The church-yard path along,
The blast blew cold, the dark owl scream'd
Her lover's fun'ral song.

Amid the falling gloom of night
Her startling fancy found
In ev'ry bush his hov'ring shade,
His groan in ev'ry sound.

Знать, гроб ему предчувствие сулило!
Уже ланит румяный цвет пропал;
Их горе бледностью покрыло...
Несчастный увядал.

И не спасут его молодые леты;
Вотще в слезах над ним его отец;
Вотще и вопли и обеты!..
Всему, всему конец.

И молит он: «Друзья, из сожаленья!..
Хотя бы раз мне на нее взглянуть!..
Ах! дайте, дайте от мученья
При ней мне отдохнуть».

Она пришла; но взор любви всеильный
Уже тебя, Эдвин, не воскресит:
Уже готов покров могильный,
И гроб уже открыт.

Смотри, смотри, несчастная Эльвина,
Как изменил его последний час:
Ни тени прежнего Эдвина;
Лик бледный, слабый глас.

В знак верности он подает ей руку
И на нее взор томный устремил:
Как сильно вечную разлуку
Сей взор изобразил!

И в тьме ночной, покинувши Эдвина,
Домой одна вблизи кладбища шла,
Души не чувствуя, Эльвина;
Кругом густела мгла.

От севера подьемаясь, ветер хладный
Качал, свистя во мраке, дерева;
И выла на стене оградной
Полночная сова.

Alone, appall'd, thus had she pass'd
The visionary vale—
When, lo! the death-bell smote her ear,
Sad sounding in the gale.

Just then she reach'd, with trembling step,
Her aged mother's door—
'He's gone!' she cry'd, 'and I shall see
'That angel face no more!

'I feel, I feel this breaking heart
'Beat high against my side—'
From her white arm down sunk her head;
She shiv'ring sigh'd, and died.



И вся душа в Эльвине замирала;
И взор ее во всем его встречал;
 Казалось— тень его летала;
 Казалось— он стонал.

Но... вот и въявь уж слышится Эльвине:
Вдали провыл уныло тяжкий звон;
 Как смерти голос, по долине
 Промчавшись, стихнул он.

И к матери без памяти вбежала—
Бледна, и свет в очах ее темнел.
 «Прости, все кончилось!— сказала—
 Мой ангел улетел!

Благослови... зовут... иду к Эдвину...
Но для тебя мне жаль покинуть свет».
 Умолкла... мать зовет Эльвину...
 Эльвины больше нет.



Thomas Gray

ELEGY WRITTEN IN A COUNTRY CHURCH-YARD

The curfew tolls the knell of Parting day,
The lowing herd winds slowly o'er the lea,
The plowman homeward plods his weary way
And leaves the world to darkness and to me.

Now fades the glimm'ring landscape on the sight,
And all the air a solemn stillness holds,
Save where the beetle wheels his drony flight,
And drowsy tinklings lull the distant folds;

Save that, from yonder ivy-mantled tow'r,
The moping owl does to the moon complain
Of such, as wand'ring near her secret bow'r,
Molest her ancient solitary reign.

Hark! how the sacred calm that breathes around
Bids every fierce tumultuous passion cease;
In still small accents whispering from the ground,
A grateful earnest of eternal peace.

Beneath those rugged elms, that yew-tree's shade
Where heaves the turf in many a mould'ring heap,
Each in his narrow cell for ever laid,
The rude forefathers of the hamlet sleep.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Элегия

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье —
Ничто не вызовет почивших из гробов.

The breezy call of incense-breathing morn,
The swallow twitt'ring from the straw-built shed,
The cock's shrill clarion, or the echoing horn,
No more shall rouse them from their lowly bed.

For them no more the blazing hearth shall burn,
Or busy housewife ply her evening care,
Nor children run to lisp their sire's return,
Or climb his knees the envied kiss to share.

Oft did the harvest to their sickle yield;
Their furrow oft the stubborn glebe has broke;
How jocund did they drive their teams afield!
How bow'd the woods beneath their sturdy stroke!

Let not ambition mock their useful toil,
Their homely joys and destiny obscure;
Nor grandeur hear with a disdainful smile,
The short and simple annals of the poor.

The boast of heraldry, the pomp of pow'r,
And all that beauty, all that wealth e'er gave,
Await, alike, th' inevitable hour;
The paths of glory lead but to the grave.

Nor you, ye proud, impute to these the fault,
If mem'ry o'er their tomb no trophies raise,
Where thro' the long-drawn aisle and fretted vault
The pealing anthem swells the note of praise.

Can storied urn, or animated bust,
Back to its mansion call the fleeting breath?
Can honour's voice provoke the silent dust,
Or flatt'ry soothe the dull cold ear of death?

Perhaps in this neglected spot is laid
Some heart once pregnant with celestial fire;

На дымном очаге трескучий огонь, сверкая,
Их в зимни вечера не будет веселить,
И дети резвые, встречать их выбегая,
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.

Как часто их серпы золотую ниву жали
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали
И потом их лица кропилася земля!

Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеясь в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам;

На всех ярится смерть — царя, любимца славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемощны судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведет!

А вы, наперсники фортуны ослепленны,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что гробы их непышны и забвенны,
Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать.

Вотще над мертвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся, надгробия блестят,
Вотще глас почестей гремит перед гробами —
Угасший пепел наш они не воспалят.

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою
И невозвратную добычу возвратит?
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.

Ах! может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!

Hands, that the rod of empire might have sway'd,
Or wak'd to ecstasy the living lyre.

But knowledge to their eyes her ample page,
Rich with the spoils of time, did ne'er unroll;
Chill penury repress'd their noble rage,
And froze the genial current of the soul.

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flow'r is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

Some village Hampden, that with dauntless breast
The little tyrant of his fields withstood,
Some mute inglorious Milton here may rest,
Some Cromwell guiltless of his country's blood.

Th' applause of list'ning senates to command,
The threats of pain and ruin to despise,
To scatter plenty o'er a smiling land,
And read their hist'ry in a nation's eyes,

Their lot forbade: nor circumscrib'd alone
Their growing virtues, but their crimes confin'd;
Forbade to wade through slaughter to a throne,
And shut the gates of mercy on mankind;

The struggling pangs of conscious truth to hide,
To quench the blushes of ingenuous shame;
Or heap the shrine of Luxury and Pride
With incense kindled at the Muse's flame.

Far from the madding crowd's ignoble strife,
Their sober wishes never learn'd to stray;
Along the cool sequester'd vale of life
They kept the noiseless tenor of their way.

Но просвещения храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Как часто редкий перл, волнами сокровенный,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию граждан Кромвель необагрённый,
Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах.

Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуны презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —

Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил;
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям
И быть жестокими к страдальцам запретил;

Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять
И, раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных муз гордыне посвящать.

Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.

И здесь спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и резьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.

Yet ev'n these bones from insult to protect,
Some frail memorial still erected nigh,
With uncouth rhymes and shapeless sculpture deck'd,
Implores the passing tribute of a sigh.

Their name, their years, spelt by the unletter'd Muse,
The place of fame and elegy supply;
And many a holy text around she strews,
That teach the rustic moralist to die.

For who, to dumb forgetfulness a prey,
This pleasing anxious being e'er resign'd,
Left the warm precincts of the cheerful day,
Nor cast one longing, ling'ring look behind!

On some fond breast the parting soul relies,
Some pious drops the closing eye requires;
Ev'n from the tomb, the voice of nature cries,
Ev'n in our ashes live their wonted fires.

For thee, who, mindful of th' unhonour'd dead,
Dost in these lines their artless tale relate;
If, chance, by lonely contemplation led,
Some kindred spirit shall inquire thy fate:

Haply some hoary-headed swain may say,
'Oft have we seen him at the peep of dawn,
Brushing with hasty steps the dews away,
To meet the sun upon the upland lawn:

There at the foot of yonder nodding beech:
That wreaths its old fantastic roots so high,
His listless length at noon-tide would he stretch,
And pore upon the brook that bubbles by.

Him have we seen the greenwood side along,
While o'er the heath we hied, our labour done,
Oft as the woodlark piped her farewell song,
With wistful eyes pursue the setting sun.

Любовь на камне сем их память сохранила,
Их лета, имена потщившись начертать;
Окрест библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учиться умирать.

И кто с сей жизнью без горя расставался?
Кто прах свой по себе забвенью предавал?
Кто в час последний свой сим миром не пленялся
И взора томного назад не обращал?

Ах! нежная душа, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой;
И взоры тусклые, навеки угасая,
Еще стремится к ним с последнею слезой;

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен.

А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к гробу твоему, мечтой сопровождаемый,
Чувствительный придет услышать жребий твой.

Быть может, селянин с почтенной сединою
Так будет о тебе пришельцу говорить:
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,
Когда спешил на холм зарю предупредить.

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой;
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,
Лежал, задумавшись, над светлою рекой;

Нередко в вечеру, скитаясь меж кустами,—
Когда мы с поля шли и в роще соловей
Свистал вечерню песнь,— он томными очами
Уныло следовал за тихую зарей.

Hard by yon wood, now smiling as in scorn,
 Mutt'ring his wayward fancies, he would rove;
 Now drooping, woeful-wan, like one forlorn,
 Or craz'd with care, or cross'd in hopeless love.

One morn I miss'd him on the custom'd hill,
 Along the heath, and near his fav'rite tree;
 Another came, nor yet beside the rill,
 Nor up the lawn, not at the wood was he;

The next, with dirges due, in sad array,
 Slow thro' the church-yard path we saw him borne;
 Approach and read (for thou canst read) the lay,
 Grav'd on the stone beneath yon aged thorn.'

The Epitaph

*Here rests his head upon the lap of Earth
 A youth, to Fortune and to Fame unknown;
 Fair Science frown'd not on his humble birth,
 And Melancholy mark'd him for her own.*

*Large was his bounty, and his soul sincere,
 Heav'n did a recompense as largely send:
 He gave to Mis'ry (all he had) a tear,
 He gain'd from Heav'n ('twas all he wish'd) a friend.*

*No farther seek his merits to disclose,
 Or draw his frailties from their dread abode,
 (There they alike in trembling hope repose),
 The bosom of his Father and his God.*



Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной,
Он часто уходил в дубраву слезы лить,
Как странник, родины, друзей, всего лишенный,
Которому ничем души не усладить.

Взошла заря — но он с зарею не являлся,
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;
Опять заря взошла — нигде он не встречался;
Мой взор его искал — искал — не находил.

Наутро пение мы слышим гробовое...
Несчастливого несут в могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить».

*Здесь пепел юноши безвременно сокрыли,
Что слава, счастье, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.*

*Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным творец награду положил.
Дарил несчастных он — чем только мог — слезою;
В награду от творца он друга получил.*

*Прохожий, помолись над этою могилкой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его Спаситель-Бог.*



*From "THE PROGRESS OF POESY"**A Pindaric Ode*

I.1.

Awake, Æolian lyre, awake,
And give to rapture all thy trembling strings.
From Helicon's harmonious springs
A thousand rills their mazy progress take:
The laughing flowers, that round them blow,
Drink life and fragrance as they flow.
Now the rich stream of music winds along
Deep, majestic, smooth, and strong,
Thro' verdant vales, and Ceres' golden reign:
Now rowling down the steep amain,
Headlong, impetuous, see it pour:
The rocks, and nodding groves rebellow to the roar.

I.2.

Oh! Sovereign of the willing soul,
Parent of sweet and solemn-breathing airs,
Enchanting shell! the sullen Cares,
And frantic Passions hear thy soft controul.
On Thracia's hills the Lord of War,
Has curb'd the fury of his car,
And drop'd his thirsty lance at thy command.
Perching on the scept' red hand
Of Jove, thy magic lulls the feather'd king
With ruffled plumes, and flagging wing:
Quench'd in dark clouds of slumber lie
The terror of his beak, and light'nings of his eye.

I.3.

Thee the voice, the dance, obey,
Temper'd to thy warbled lay.
O'er Idalia's velvet-green
The rosy-crowned Loves are seen
On Cytherea's day
With antic Sports, and blue-eyed Pleasures,

УСПЕХИ ПОЭЗИИ

*Пиндарическая ода**Вольный перевод с английского из Грея*

I.1.

Проснись, наперсница, подруга Аполлона,
Восторгом движима, играй.
И сердце сладостной гармонией пленяй! –
С высот сенистых Геликона,
Журча в согласии, сверкаящи ручьи,
То быстро, то едва катят свои струи,
Несутся, тихую долину отеняют,
Цветы прохладною росой оживляют.
И слившись в пышную реку,
Проходят по лугам в величии спокойном
И вдруг, ударившись в гранитную скалу,
Вздыхают, кипят [.....]
Клубятся, мчатся [.....]
Все рушат в ярости [.....]
Далекий, черный [.....]
Шумя, отвечает [.....]

I.2.

Пленительница [.....]
Мать гимнов [.....]
О лира сладкая [.....]
Коль дивны [.....]
Забот твоих [.....]
Ты сердце горестью [.....]
Ты мир бунтуя [.....]
На холмах Фракии [.....]
Тобой смягчается [.....]
И буйство гордое и [.....]
Сгибает пред тобой [.....]
На скиптроносную [.....]
Склонясь, роняет свой [.....]
И крепость дерзких [.....]
Теряет, усыплен игрой волшебных струн.

Frisking light in frolic measures;
 Now pursuing, now retreating,
 Now in circling troops they meet :
 To brisk notes in cadence beating
 Glance their many-twinkling feet.
 Slow melting strains their Queen's approach declare:
 Where'er she turns the Graces homage pay.
 With arms sublime, that float upon the air,
 In gliding state she wins her easy way:
 O'er her warm cheek, and rising bosom, move
 The bloom of young Desire, and purple light of Love.

II.1.

Man's feeble race what Ills await,
 Labour, and Penury, the racks of Pain,
 Disease, and Sorrow's weeping train,
 And Death, sad refuge from the storms of Fate!
 The fond complaint, my Song, disprove,
 And justify the laws of Jove.
 Say, has he giv'n in vain the heav'nly Muse?
 Night, and all her sickly dews,
 Her Spectres wan, and Birds of boding cry,
 He gives to range the dreary sky:
 Till down the eastern cliffs afar
 Hyperion's march they spy, and glitt'ring shafts of war.

II.2

In climes beyond the solar road,
 Where shaggy forms o'er ice-built mountains roam,
 The Muse has broke the twilight-gloom
 To chear the shiv'ring Native's dull abode¹.



¹В квадратных скобках русского текста многоточия указывают оторванную часть рукописи.

I.3.

Твой голос пляскою шумящей управляет!
Когда Венеры день священный наступает
На Кипрских бархатных лугах,
Амуры, в розовых венках,
Резвятся с смехами, играми,
Согласно с звонкими струнами,
То быстро прыгают, то с легкостью бегут,
Едва цветы в стремлении волнует гнут,
Друг друга гонят – уступают –
И сплетшись гибкими руками в хоровод
Кружатся, носятся, мелькают –
Киприды радостный приход
Согласны арфы торжествуют.
Хор юных граций вслед за ней, толпясь, спешит,
Любовь на пламенных щеках ее горит
И зыблющую грудь желания волнуют.

II.1.

Раб бедствий, человек, в сем мире путь терновой
Тебе от рока проложен,
Несокрушимыми цепями пригвожден
Ты к колеснице зол громовой! –
Страданье бледное везде как тень с тобой,
Лишь гроб от бурь судьбы покров унылый твой.
Небесной лиры глас страдальцев утешает –
Раздастся – туча зол мгновенно исчезает; –
Так нощи дремлющая мгла,
И привидения во тьме ее бродящи,
И птиц зловещих сонм, в глуши лесов шумящи,
Скрываются, едва заря,
С сияньем озарит утесы отдаленны
И Феб, стрелою золотой
Пронзивши черный мрак густой,
Взлетит на эмпирей, лучами окруженный! –

II.2.

О муза, дочь небес, и в неприступны зоны,
Где солнце в вечной пре с необозримым льдом,
Блеснула ты благим живительным лучом,
И укротилася жестокость Аквилона!

Oliver Goldsmith

FROM "THE HERMIT"
EDWIN AND ANGELINA
A Ballad

"Turn, gentle Hermit of the dale,
And guide my lonely way
To where yon taper cheers the vale
With hospitable ray;

"For here forlorn and lost I tread,
With fainting steps and slow—
Where wilds, immeasurably spread,
Seem lengthening as I go."

"Forbear, my son," the Hermit cries,
"To tempt the dangerous gloom;
For yonder faithless phantom flies
To lure thee to thy doom.

"Here to the houseless child of want
My door is open still;
And though my portion is but scant,
I give it with goodwill.

"Then turn to-night, and freely share
Whate'er my cell bestows;
My rushy couch and frugal fare,
My blessing and repose.

ПУСТЫННИК

«Веди меня, пустыни житель,
Святой анахорет;
Близка желанная обитель;
Приветный вижу свет.

Устал я: тьма кругом густая;
Запал в глуши мой след;
Безбрежней, мнится, степь пустая,
Чем дале я вперед».

«Мой сын (в ответ пустыни житель),
Ты призраком прельщен:
Опасен твой путеводитель —
Над бездной светит он.

Здесь чадам нищеты бездомным
Отверзта дверь моя,
И скудных благ уделом скромным
Делюсь от сердца я.

Войди в гостеприимну келью;
Мой сын, перед тобой
И брашно с жесткою постелью
И сладкий мой покой.

“No flocks that range the valley free
To slaughter I condemn;
Taught by that Power that pities me,
I learn to pity them:

“But from the mountain’s grassy side
A guiltless feast I bring—
A scrip with herbs and fruits supplied,
And water from the spring.

“Then, pilgrim, turn, thy cares forego;
All earth-born cares are wrong:
Man wants but little here below,
Nor wants that little long.”

Soft as the dew from heaven descends,
His gentle accents fell:
The modest stranger lowly bends,
And follows to the cell.

Far in a wilderness obscure
The lonely mansion lay;
A refuge to the neighb’ring poor
And strangers led astray.

No stores beneath its humble thatch
Required a master’s care;
The wicket, opening with a latch,
Received the harmless pair.

And now, when busy crowds retire
To take their evening rest,
The Hermit trimmed his little fire,
And cheered his pensive guest.

And spread his vegetable store,
And gaily pressed, and smiled;
And, skilled in legendary lore,
The lingering hours beguiled:

Есть стадо... но безвинных кровью
Руки я не багрил:
Меня творец своей любовью
Щадить их научил.

Обед снимаю непорочный
С пригорков и полей;
Деревья плод дают мне сочный;
Питье дает ручей.

Войди ж в мой дом — забот там чужды;
Нет блага в суете:
Нам малые даны здесь нужды;
На малый миг и те».

Как свежая роса денницы,
Был сладок сей привет;
И робкий гость, склоня зеницы,
Идет за старцем вслед.

В дичи глухой, непроходимой
Его таился кров —
Приют для сироты гонимой,
Для странника покров.

Непышны в хижине уборы,
Там бедность и покой;
И скрипнули дверей растворы
Пред мирною четой.

И старец зрит гостеприимный,
Что гость его уныл,
И светлый огонек он в дымной
Печурке разложил.

Плоды и зелень предлагает
С приправой добрых слов;
Беседой скуку озлащает
Медлительных часов.

Around in sympathetic mirth
Its tricks the kitten tries—
The cricket chirrups in the hearth,
The crackling faggot flies.

But nothing could a charm impart
To soothe the stranger's woe—
For grief was heavy at his heart,
And tears began to flow.

His rising cares the Hermit spied—
With answering care opprest;
“And whence, unhappy youth,” he cried,
“The sorrows of thy breast?

“From better habitations spurned,
Reluctant dost thou rove?
Or grieve for friendship unreturned,
Or unregarded love?

“Alas! the joys that fortune brings
Are trifling, and decay;
And those who prize the paltry things
More trifling still than they.

“And what is friendship but a name,
A charm that lulls to sleep—
A shade that follows wealth or fame,
But leaves the wretch to weep?

“And love is still an emptier sound,
The modern fair-one's jest;
On earth unseen, or only found
To warm the turtle's nest.

“For shame, fond youth, thy sorrows hush
And spurn the sex,” he said;
But while he spoke, a rising blush
His love-lorn guest betrayed.

Кружится резвый кот пред ними;
В углу кричит сверчок;
Трещит меж листьями сухими
Блестящий огонек.

Но молчалив пришлец угрюмый;
Печаль в его чертах;
Душа полна прискорбной думы;
И слезы на глазах.

Ему пустынный отвечает
Сердечною тоской.
«О юный странник, что смущает
Так рано твой покой?»

Иль быть убогим и бездомным
Творец тебе судил?
Иль предан другом вероломным?
Или вотще любил?

Увы! спокой себя; презренны
Утехи благ земных;
А тот, кто плачет, их лишенный,
Еще презренней их.

Приманчив дружбы взор лукавый:
Но ах! как тень, вослед
Она за счастьем, за славой,
И прочь от хилых бед.

Любовь... любовь. Прелест игрою
Отрава сладких слов,
Незрима в мире; лишь порою
Живет у голубков.

Но, друг, ты робостью стыдливой
Свой нежный пол открыл».
И очи странник торопливый,
Краснея, опустил.

Surprised he sees new beauties rise,
Swift mantling to the view—
Like colours o'er the morning skies,
As bright, as transient too.

The bashful look, the rising breast,
Alternate spread alarms:
The lovely stranger stands confest
A maid in all her charms.

“And ah! forgive a stranger rude,
A wretch forlorn,” she cried—
“Whose feet unhallowed thus intrude
Where Heaven and you reside.

“But let a maid thy pity share,
Whom love has taught to stray—
Who seeks for rest, but finds despair
Companion of her way.

“My father lived beside the Tyne,
A wealthy lord was he:
And all his wealth was marked as mine
He had but only me.

“To win me from his tender arms,
Unnumbered suitors came;
Who praised me for imputed charms,
And felt, or feigned a flame.

“Each hour a mercenary crowd
With richest proffers strove;
Amongst the rest young Edwin bowed,
But never talked of love.

“In humble simplest habit clad,
No wealth nor power had he:
Wisdom and worth were all he had—
But these were all to me.

Краса сквозь легкий проникает
Стыдливости покров;
Так утро тихое сияет
Сквозь завес облаков.

Трепещут перси; взор склоненный,
Как роза, цвет ланит...
И деву-прелесть изумленный
Отшельник в госте зрит.

«Простишь ли, старец, дерзновенье,
Что робкою стопой
Вошла в твое уединенье,
Где Бог один с тобой?»

Любовь надежд моих губитель,
Моих виновник бед;
Ищу покоя, но мучитель
Тоска за мною вслед.

Отец мой знатностию, славой
И пышностью гремел;
Я дней его была забавой;
Он все во мне имел.

И рыцари стеклись толпою:
Мне предлагали в дар
Те чистый, сходный с их душою,
А те притворный жар.

И каждый лестью вероломной
Привлечь меня мечтал...
Но в их толпе Эдвин был скромный;
Эдвин, любя, молчал.

Ему с смиренной нищетою
Судьба одно дала:
Пленять высокою душою;
И та моей была.

“And when, beside me in the dale,
He caroled lays of love,
His breath lent fragrance to the gale
And music to the grove.

“The blossom op’ning to the day,
The dews of Heaven refined,
Could nought of purity display
To emulate his mind.

“The dew, the blossom on the tree,
With charms inconstant shine;
Their charms were his; but, woe to me,
Their constancy was mine.

“For still I tried each fickle art,
Importunate and vain;
And while his passion touched my heart,
I triumphed in his pain;

“Till quite dejected with my scorn,
He left me to my pride;
And sought a solitude forlorn,
In secret, where he died.

“But mine the sorrow, mine the fault,
And well my life shall pay;
I’ll seek the solitude he sought,
And stretch me where he lay;

“And there, forlorn, despairing hid—
I’ll lay me down and die;
’Twas so for me that Edwin did,
And so for him will I.”

“Forbid it, Heav’n!” the Hermit cried,
And clasped her to his breast:
The wond’ring fair one turned to chide—
’Twas Edwin’s self that pressed.

Роса на розе, цвет душистый
Фиалки полевой
Едва сравниться могут с чистой
Эдвиновой душой.

Но цвет с небесною росой
Живут единый миг:
Он одарен был их красою,
Я легкостию их.

Я гордой, хладною казалась;
Но мил он втайне был;
Увы! любя, я восхищалась,
Когда он слезы лил.

Несчастный! он не снес презренья;
В пустыню он помчал
Свою любовь, свои мученья —
И там в слезах увял.

Но я виновна; мне страданье;
Мне увядать в слезах;
Мне будь пустыня та изгнанье,
Где скрыт Эдвин прах.

Над тихою его могилой
Конец свой встречу я —
И приношеньем тени милой
Пусть будет жизнь моя».

«Мальвина!» — старец восклицает,
И пал к ее ногам...
О чудо! их Эдвин лобзает;
Эдвин пред нею сам.

«Друг незабвенный, друг единый!
Опять, навек я твой!

“Turn, Angelina, ever dear—
My charmer, turn to see
Thy own, thy long-lost Edwin here,
Restored to love and thee.

“Thus let me hold thee to my heart,
And every care resign;
And shall we never, never part,
My life—my all that’s mine!

“No, never from this hour to part,
We’ll live and love so true;
The sigh that rends thy constant heart,
Shall break thy Edwin’s too.”



FROM “THE DESERTED VILLAGE”

Sweet Auburn! loveliest village of the plain,
Where health and plenty cheered the labouring swain,
Where smiling spring its earliest visit paid,
And parting summer’s lingering blooms delay’d:
Dear lovely bowers of innocence and ease,
Seats of my youth, when every sport could please:
How often have I loitered o’er thy green,
Where humble happiness endeared each scene!
How often have I paused on every charm,
The sheltered cot, the cultivated farm,
The never-failing brook, the busy mill,
The decent church that topt the neighbouring hill,
The hawthorn bush, with seats beneath the shade,
For talking age and whispering lovers made!
How often have I blessed the coming day,
When toil remitting lent its turn to play,
And all the village train, from labour free,
Led up their sports beneath the spreading tree,
While many a pastime circled in the shade,
The young contending, as the old survey’d;

Полна душа моя Мальвиной —
И здесь дышал тобой.

Забудь о прошлом; нет разлуки;
Сам Бог вещает нам:
Все в жизни, радости и муки,
Отныне пополам.

Ах! будь и самый час кончины
Для двух сердец один:
Да с милой жизнью Мальвины
Угаснет и Эдвин».



ОПУСТЕВШАЯ ДЕРЕВНЯ

О родина моя, Обурн благословенный!
Страна, где селянин, трудами утомленный,
Свой тягостный удел обильем улаждал,
Где ранний луч весны приятнее блистал,
Где лето медлило разлукою с полями!
Дубравы тихие с тенистыми главами!
О сени счастья, друзья весны моей,—
Ужель не возвращу блаженства оных дней,
Волшебных, райских дней, когда, судьбой забвенный,
Я миром почитал сей край уединенный!
О сладостный Обурн! как здесь я счастлив был!
Какие прелести во всем я находил!
Как все казалось мне всегда во цвете новом!
Рыбачья хижина с соломенным покровом,
Крылатых мельниц ряд, в кустарнике ручей;
Густой, согбенный дуб с дерновою скамьей,
Любимый старцами, любовникам знакомый;

And many a gambol frolicked o'er the ground,
And sleights of art and feats of strength went round:
And still, as each repeated pleasure tir'd,
Succeeding sports the mirthful band inspir'd;
The dancing pair, that simply sought renown
By holding out to tire each other down;
The swain mistrustless of his smutted face,
While secret laughter tittered round the place;
The bashful virgin's sidelong looks of love,
The matron's glance that would those looks reprove.
These were thy charms, sweet village! sports like these,
With sweet succession, taught e'en toil to please;
These round thy bowers their cheerful influence shed;
These were thy charms—but all these charms are fled.

Sweet smiling village, loveliest of the lawn,
Thy sports are fled and all thy charms withdrawn;
Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen,
And desolation saddens all thy green:
One only master grasps the whole domain,
And half a tillage stints thy smiling plain;
No more thy glassy brook reflects the day,
But, choked with sedges, works its weedy way;
Along thy glades, a solitary guest,
The hollow-sounding bittern guards its nest;
Amidst thy desert walks the lapwing flies,
And tires their echoes with unvaried cries.
Sunk are thy bowers in shapeless ruin all,
And the long grass o'ertops the mouldering wall;
And, trembling, shrinking from the spoiler's hand,
Far, far away, thy children leave the land.

Ill fares the land, to hastening ills a prey,
Where wealth accumulates, and men decay:
Princes and lords may flourish, or may fade—
A breath can make them, as a breath has made:
But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed, can never be supplied.

И церковь на холме, и скромны сельски дома —
Все мой пленяло взор, все дух питало мой!
Когда ж, в досужный час, шумящую толпой
Все жители села под древний вяз стекались —
Какие тьмы утех очам моим являлись!
Веселый хоровод, звучащая свирель,
Сраженья, спорный бег, стрельба в далеку цель,
Проворства чудеса и силы испытанье,
Всеобщий крик и плеск победы в воздаянье,
Отважные скачки, искусство плясунов,
Свобода, резвость, смех, хор песней, гул рогов,
Красавиц робкий вид и тайное волненье,
Старушек бдительных угрюмость, подозренье,
И шутки юношей над бедным пастухом,
Который, весь в пыли, с уродливым лицом,
Стоя в кругу, смешил своєю простотою,
И живость стариков за чашей круговою —
Вот прежние твои утехи, мирный край!
Но где они? Где вы, луга, цветущий рай?
Где игры поселян, весельем оживленных?
Где пышность и краса полей одушевленных?
Где счастье? где любовь? Исчезло все — их нет!..

О родина моя, о сладость прежних лет!
О нивы, о поля, добычи запустенья!
О виды скорбные развалин, разрушенья!
В пустыню обращен природы пышный сад!
На тучных пажитях не вижу резвых стад!
Унылость на холмах! В окрестности молчанье!
Потока быстрый бег, прозрачность и сверканье
Исчезли в густоте болотных диких трав!
Ни тропки, ни следа под сенями дубрав!
Все тихо! все мертво! замолкли песней клики!

A time there was, ere England's griefs began,
When every rood of ground maintained its man;
For him light labour spread her wholesome store,
Just gave what life required, but gave no more:
His best companions, innocence and health,
And his best riches, ignorance of wealth.

But times are altered; trade's unfeeling train
Usurp the land, and dispossess the swain:
Along the lawn, where scattered hamlets rose,
Unwieldy wealth and cumbrous pomp repose;
And every want to opulence allied,
And every pang that folly pays to pride.
Those gentle hours that plenty bade to bloom,
Those calm desires that asked but little room,
Those healthful sports that graced the peaceful scene,
Lived in each look, and brightened all the green;
These, far departing, seek a kinder shore,
And rural mirth and manners are no more.

Sweet Auburn! parent of the blissful hour,
Thy glades forlorn confess the tyrant's power.
Here, as I take my solitary rounds,
Amidst thy tangling walks, and ruined grounds,
And, many a year elapsed, return to view
Where once the cottage stood, the hawthorn grew,
Remembrance wakes with all her busy train,
Swells at my breast, and turns the past to pain.

In all my wand'rings round this world of care,
In all my griefs—and God has given my share—
I still had hopes my latest hours to crown,
Amidst these humble bowers to lay me down;
To husband out life's taper at the close,
And keep the flame from wasting by repose.
I still had hopes, for pride attends us still,
Amidst the swains to show my book-learned skill,
Around my fire an evening group to draw,
And tell of all I felt, and all I saw;
And, as a hare, whom hounds and horns pursue,

Лишь цапли в пустыре пронзительные крики,
Лишь чибиса в глуши печальный, редкий стон,
Лишь тихий вдалеке звонков овечьих звон
Повременно сие молчанье нарушают!
Но где твои сыны, о край утех, блуждают?
Увы! отчуждены от родины своей!
Далеко странствуют! Их путь среди степей!
Их бедственный удел — скитаться без покрова!..

Погибель той стране конечная готова,
Где злато множится и вянет цвет людей! ;
Презренно счастье вельможей и князей!
Их миг один творит и миг уничтожает!
Но счастье поселян с веками возрастает;
Разрушившись, оно разрушится навек!..

Где дни, о Альбион, как сельский человек,
Под сенью твоего могущества почтенный,
Владелец нив своих, в трудах не угнетенный,
Природы гордый сын, взлелеян простотой,
Богатый здоровьем и чистою душой,
Убожества не знал, не льстился благ стяжаньем
И был стократ блажен сокровищей незнаньем?
Дни счастья! Их нет! Корыстною рукой
Оратай отчужден от хижины родной!
Где прежде нив моря, блистая, волновались,
Где рощи и холмы стадами оглашались,
Там ныне хищников владычество одно!
Там все под горами богатств погребено!
Там муками сует безумие страдает!
Там роскошь посреди сокровищ издыхает!
А вы, часы отрад, невинность, тихий сон!
Желанья скромные! надежды без препон!
Златое здравие, трудов благословенье!

Pants to the place from whence at first he flew,
I still had hopes, my long vexations past,
Here to return—and die at home at last.

O blest retirement, friend to life's decline,
Retreats from care, that never must be mine,
How happy he who crowns, in shades like these,
A youth of labour with an age of ease;
Who quits a world where strong temptations try,
And, since 'tis hard to combat, learns to fly!..



Беспечность! мир души! в заботах наслажденье! —
Где вы, прелестные? Где ваш цветущий след?
В какой далекий край направлен ваш полет?
Ах! с вами сельских благ и доблестей не стало!..
О родина моя, где счастье процветало!
Прошли, навек прошли твои златые дни!
Смотрю — лишь пустыри заглохшие одни,
Лишь дичь безмолвную, лишь тундры обретаю!
Лишь ветру, в осокé свистящему, внимаю!
Скитаюсь по полям — все пусто, все молчит!
К минувшим ли часам душа моя летит?
Ищу ли хижины рыбацкой под рекою
Иль дуба на холме с дерновою скамьею —
Напрасно! Скрылось все! Пустыня предо мной!
И воспоминание сменяется тоской!..

Я в свете странник был, пещец уединенный! —
Влача участок бед, творцом мне уделенный,
Я сладкою себя надеждой обольщал
Там кончить мирно век, где жизни дар приял!
В стране моих отцов, под сенью древ знакомых,
Исторгшись из толпы заботами гнетомых,
Свой тусклый пламенник от траты сохранить
И дни отшествия покоем озлатить!
О гордость!.. Я мечтал, в сих хижинах забвенных,
Слыть чудом посреди оратаев смиренных;
За чарой, у огня, в кругу их толковать
О том, что в долгий век мог слышать и видеть!
Так заяц, по полям станицей псов гонимый,
Измученный бежит опять в лесок родимый!
Так мнил я, переждав изгнанничества срок,
Прийти, с остатком дней, в свой отчий уголок!
О, дни преклонные в тени уединенья!
Блажен, кто юных лет заботы и волненья
Венчает в старости беспечной тишиной!..



Thomas Percy

A SONG

O Nancy, wilt thou go with me,
Nor sigh to leave the flaunting town:
Can silent glens have charms for thee,
The lowly cot and russet gown?
No longer dress'd in silken sheen,
No longer deck'd with jewels rare,
Say can'st thou quit each courtly scene,
Where thou wert fairest of the fair?

O Nancy! when thou'rt far away,
Wilt thou not cast a wish behind?
Say can'st thou face the parching ray,
Nor shrink before the wintry wind?
O can that soft and gentle mien
Extremes of hardship learn to bear,
Nor 'sad regret each courtly scene,
Where thou wert fairest of the fair?

O Nancy! can'st thou love so true,
Thro' perils keen with me to go,
Or when thy swain mishap shall rue,
To share with him the pang of woe?
Say should disease or pain befall,
Wilt thou assume the nurse's care,
Nor wistful those gay scenes recall
Where thou wert fairest of the fair?

К НИНЕ

Романс

О Нина, о мой друг! ужель без сожаленья
Покинешь для меня и свет и пышный град?
И в бедном шалаше, обители смиренья,
На сельский променяв блестящий свой наряд,
Не украшенная ни золотом, ни парчою,
Сияя для пустынь невидимой красою,
Не вспомнишь прежних лет, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?!

Ужель, направляя путь в далекую долину,
Назад не обратишь очей своих с тоской?
Готова ль пронести убожества судьбину,
Зимы жестокий хлад, палящий лета зной?
О ты, рожденная быть прелестью природы!
Ужель, затворница, в весенни жизни годы
Не вспомнишь сладких дней, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?

Ах! будешь ли в бедах мне верная подруга?
Опасности со мной дерзнешь ли разделить?
И, в горький жизни час, прискорбного супруга
Усмешкою любви придешь ли оживить?
Ужель, во глубине души тая страданья,
О Нина! в страшную минуту испытанья
Не вспомнишь прежних лет, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?

And when at last thy love shall die,
Wilt thou receive his parting breath?
Wilt thou repress each struggling sigh,
And cheer with smiles the bed of death?
And wilt thou o'er his breathless clay
Strew flow'rs, and drop the tender tear,
Nor *then* regret those scenes so gay,
Where thou wert fairest of the fair?



В последнее любви и радостей мгновенье,
Когда мой Нину взор уже не различит,
Утешит ли меня твое благословенье
И смертную мою постелю усладит?
Придешь ли украшать мой тихий гроб цветами?
Ужель, простертая на прах мой со слезами,
Не вспомнишь прежних лет, как в городе цвела
И *несравненною* в кругу Прелест слыла?



Robert Burns

JOHN BARLEYCORN

A Ballad

I

There was three kings into the east,
Three kings both great and high,
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn should die.

II

They took a plough and plough'd him down,
Put clods upon his head,
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn was dead.

III

But the chearful Spring came kindly on,
And show'rs began to fall;
John Barleycorn got up again,
And sore surpris'd them all.

IV

The sultry suns of Summer came,
And he grew thick and strong,
His head weel arm'd wi' pointed spears,
That no one should him wrong.

V

The sober Autumn enter'd mild,
When he grew wan and pale;

ИСПОВЕДЬ БАТИСТОВОГО ПЛАТКА

Я родился простым зерном;
Был заживо зарыт в могилу;
Но Бог весны своим лучом
Мне возвратил и жизнь и силу.

И долговязой коноплей
Покинул я земное недро;
И был испытан я судьбой, –
Ненастье зная, зная ведро.

Зной пек меня, бил тяжкий град,
И ветер гнул в свирепой злобе –
Так, что я жизни был не рад
И горевал о прежнем гробе.

Но было и раздолье мне!
Как веселился я, бывало,
Когда в час ночи, при луне,
Вокруг меня все засыпало!

Когда прохладный ветерок
Меня качал, ко мне ласкался,
Когда веселый мотылек,
Блестя, на колос мой спускался.

Но время юности прошло;
Созрел я – и пошла тревога!

His bending joints and drooping head
Show'd he began to fail.

VI

His colour sicken'd more and more,
He faded into age;
And then his enemies began
To show their deadly rage.

VII

They've taen a weapon, long and sharp.
And cut him by the knee;
Then ty'd him fast upon a cart,
Like a rogue for forgerie.

VIII

They laid him down upon his back,
And cudgell'd him full sore:
They hung him up before the storm,
And turn'd him o'er and o'er.

IX

They filled up a darksome pit
With water to the brim,
They heaved in John Barleycorn,
There let him sink or swim.

X

They laid him out upon the floor,
To work him farther woe,
And still, as signs of life appear'd,
They toss'd him to and fro.

XI

They wasted, o'er a scorching flame,
The marrow of his bones;

Однако ж, на земле и зло –
Не зло, а только милость Бога.

Пока я цвел и созревал
С моими сверстниками в поле –
Я ни о чем не помышлял,
И думал век прожить на воле.

Но роковой ударил час!
Вдруг на поле пришли крестьянки
И вырвали с корнями нас
И крепко стиснули в вязанки.

Сперва нас заперли в овин,
И там безжалостно сушили,
Потом, оставя ствол один,
Нас безголовых потопили –

И мяли, мяли нас потом...
Но описать все наши муки
Нельзя ни словом, ни пером!..
Вот мы ткачу достались в руки –

И обратил его челнок
Нас вдруг, для превращений новых,
В простой батистовый кусок
Из ниток тонких и суровых.

Тогда нежалостливый рок
Мне благосклонным оказался:
Я как батистовый *платок*,
Княжне Урусовой достался.

По маслу жизнь моя пошла!
[С батистом масло хоть не ладно,
Но масла муза мне дала,
Чтоб мог я выразиться складно] –

But a Miller us'd him worst of all.
For he crush'd him between two stones.

XII

And they hae taen his very heart's blood,
And drank it round and round;
And still the more and more they drank,
Their joy did more abound.

XIII

John Barleycorn was a hero bold,
Of noble enterprise.
For if you do but taste his blood,
'Twill make your courage rise.

XIV

'Twill make a man forget his woe;
'Twill heighten all his joy:
'Twill make the widow's heart to sing,
Tho' the tear were in her eye.

XV

Then let us toast John Barleycorn,
Each man a glass in hand;
And may his great posterity
Ne'er fail in old Scotland!



О, как я счастлив, счастлив был!
Готов в том подписаться кровью:
Княжне Софии я служил
С надеждой, верой и любовью.

Но как судьба нам неверна!
За радость зло дает сторицей!
Вот что случилось: княжна
Каталась раз с императрицей –

И захотела, торопясь,
Остановить она карету...
И я попал, несчастный, в грязь,
А из грязи – в карман к поэту.

И что же? Совестьный поэт
Меня – мной завладеть не смея –
Вдруг в лотерею отдает!..
Спаси ж меня, о лотерея!

Спеши княжне меня отдать,
И, кончив тем мое мученье,
Дай свету целому познать,
Что цель твоя: *благотворенье!*



Walter Scott

THE EVE OF SAINT JOHN

The Baron of Smaylho'me rose with day,
He spurr'd his courser on,
Without stop or stay, down the rocky way,
That leads to Brotherstone.

He went not with the bold Buccleuch,
His banner broad to rear;
He went not 'gainst the English yew
To lift the Scottish spear.

Yet his plate-jack was braced, and his helmet was laced,
And his vaunt-brace of proof he wore;
At his saddle-gerthe was a good steel sperthe,
Full ten pound weight and more.

The Baron return'd in three days space,
And his looks were sad and sour;
And weary was his courser's pace,
As he reach'd his rocky tower.

He came not from where Ancram Moor
Ran red with English blood;
Where the Douglas true and the bold Buccleuch
'Gainst keen Lord Evers stood.

ЗАМОК СМАЛЬГОЛЬМ,
ИЛИ
ИВАНОВ ВЕЧЕР

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон.

Не с могучим Боклю совокупно спешил
На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил
За Шотландию с Англией он;

Но в железной броне он сидит на коне;
Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.

Через три дни домой возвратился барон,
Отуманен и бледен лицом;
Через силу и конь, опенен, запылен,
Под тяжелым ступал седоком.

Анкрамморския битвы барон не видал,
Где потоками кровь их лилась,
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас;

Yet was his helmet hack'd and hew'd,
His action pierced and tore,
His axe and his dagger with blood imbrued,—
But it was not English gore.

He lighted at the Chapellage,
He held him close and still;
And he whistled thrice for his little foot-page,
His name was English Will.

'Come thou hither, my little foot-page,
Come hither to my knee;
Though thou art young, and tender of age,
I think thou art true to me.

'Come, tell me all that thou hast seen,
And look thou tell me true!
Since I from Smaylho'me tower have been,
What did thy lady do?'

'My lady each night sought the lonely light
That burns on the wild Watchfold;
For, from height to height, the beacons bright
Of the English foemen told.

'The bittern clamor'd from the moss,
The wind blew loud and shrill;
Yet the craggy pathway she did cross
To the eiry Beacon Hill.

'I watch'd her steps, and silent came
Where she sat her on a stone;
No watchman stood by the dreary flame,
It burned all alone.

'The second night I kept her in sight
Till to the fire she came,
And, by Mary's might! an armed Knight
Stood by the lonely flame.

Но железный шолом был иссечен на нем,
Был изрублен и панцирь и щит,
Был недавнею кровью топор за седлом,
Но не английской кровью покрыт.

Соскочив у часовни с коня за стеной,
Притаясь в кустах, он стоял;
И три раза он свистнул — и паж молодой
На условленный свист прибежал.

«Подойди, мой малютка, мой паж молодой,
И присядь на колена мои;
Ты младенец, но ты откровенен душой,
И слова непритворны твои.

Я в отлучке был три дни, мой паж молодой;
Мне теперь ты всю правду скажи:
Что заметил? Что было с твоей госпожой?
И кто был у твоей госпожи?»

«Госпожа по ночам к отдаленным скалам,
Где маяк, приходила тайком
(Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам
Не прокрасться во мраке ночном).

И на первую ночь непогода была,
И без умолку филин кричал;
И она в непогоду ночную пошла
На вершину пустынную скал.

Тихомолком подкрался я к ней в темноте;
И сидела одна — я узрел;
Не стоял часовой на пустой высоте;
Одинок маяк пламенел.

На другую же ночь — я за ней по следам
На вершину опять побежал, —
О творец, у огня одинокого там
Мне неведомый рыцарь стоял.

'And many a word that warlike lord
Did speak to my lady there;
But the rain fell fast, and loud blew the blast,
And I heard not what they were.

'The third night there the sky was fair,
And the mountain-blast was still,
As again I watch'd the secret pair
On the lonesome Beacon Hill.

'And I heard her name the midnight hour,
And name this holy eve,
And say "Come this night to thy lady's bower;
Ask no bold Baron's leave.

"He lifts his spear with the bold Buccleuch;
His lady is all alone;
The door she'll undo to her knight so true
On the eve of good Saint John."

"I cannot come, I must not come,
I dare not come to thee;
On the eve of Saint John I must wander alone,
In thy bower I may not be."

"Now out on thee, fainthearted knight!
Thou shouldst not say me nay,
For the eve is sweet, and when lovers meet
Is worth the whole summer's day.

"And I'll chain the blood-hound, and the warder
shall not sound,
And rushes shall be strew'd on the stair;
So, by the black rood-stone, and by holy Saint John,
I conjure thee, my love, to be there!"

"Though the blood-hound be mute, and the rush
beneath my foot,
And the warder his bugle should not blow,
Yet there sleepeth a priest in the chamber to the east,
And my footstep he would know.

Подпершился мечом, он стоял пред огнем,
И беседовал долго он с ней;
Но под шумным дождем, но при ветре ночном
Я расслушать не мог их речей.

И последняя ночь безненастна была,
И порывистый ветер молчал;
И к майку она на свиданье пошла;
У майка уж рыцарь стоял.

И сказала (я слышал): «В полуночный час,
Перед светлым Ивановым днем,
Приходи ты; мой муж не опасен для нас;
Он теперь на свиданье ином;

Он с могучим Боклю ополчился теперь;
Он в сраженье забыл про меня —
И тайком отопру я для милого дверь
Накануне Иванова дня».

«Я не властен прийти, я не должен прийти,
Я не смею прийти (был ответ);
Пред Ивановым днем одиноким путем
Я пойду... мне товарища нет».

«О, сомнение прочь! безмятежная ночь
Пред великим Ивановым днем
И тиха и темна, и свиданьям она
Благосклонна в молчанье своем.

Я собак привяжу, часовых уложу,
Я крыльцо пересыплю травой,
И в приюте моем, пред Ивановым днем,
Безопасен ты будешь со мной».

«Пусть собака молчит, часовой не трубит
И трава не слышна под ногой,—
Но священник есть там; он не спит по ночам;
Он приход мой узнает ночной».

“O fear not the priest, who sleepeth to the east,
For to Dryburgh the way he has ta'en;
And there to say mass, till three days do pass,
For the soul of a knight that is slayne.”

‘He turn’d him around, and grimly he frown’d,
Then he laugh’d right scornfully—
“He who says the mass-rite for the soul of that knight
May as well say mass for me.

“At the lone midnight hour, when bad spirits have power,
In thy chamber will I be.”
With that he was gone, and my lady left alone,
And no more did I see.’

Then changed, I trow, was that bold Baron’s brow,
From the dark to the blood-red high—
‘Now tell me the mien of the knight thou hast seen,
For, by Mary, he shall die!’

‘His arms shone full bright in the beacon’s red light;
His plume it was scarlet and blue;
On his shield was a hound in a silver leash bound,
And his crest was a branch of the yew.’

‘Thou liest, thou liest, thou little foot-page,
Loud dost thou lie to me!
For that knight is cold, and low laid in the mould,
All under the Eildon-tree.’

‘Yet hear but my word, my noble lord!
For I heard her name his name;
And that lady bright, she called the knight
Sir Richard of Coldinghame.’

The bold Baron’s brow then changed, I trow,
From high blood-red to pale—
‘The grave is deep and dark, and the corpse is stiff and stark,
So I may not trust thy tale.

«Он уйдет к той поре: в монастырь на горе
Панихиду он позван служить:
Кто-то был умерщвлен; по душе его он
Будет три дни поминки творить».

Он нахмурился глядел, он как мертвый бледнел,
Он ужасен стоял при огне.
«Пусть о том, кто убит, он поминки творит:
То, быть может, поминки по мне.

Но полуночный час благосклонен для нас:
Я приду под защиту мглы».
Он сказал... и она... я смотрю... уж одна
У маяка пустынной скалы».

И Смальгольмский барон, поражен, раздражен,
И кипел, и горел, и сверкал.
«Но скажи наконец, кто ночной сей пришлец?
Он, клянусь небесами, пропал!»

«Показалось мне при блестящем огне:
Был шелом с соколиным пером,
И палаш боевой на цепи золотой,
Три звезды на щите голубом».

«Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой;
Сей полуночный мрачный пришлец
Был не властен прийти: он убит на пути;
Он в могилу зарыт, он мертвец».

«Нет! не чудилось мне; я стоял при огне,
И увидел, услышал я сам,
Как его обняла, как его назвала:
То был рыцарь Ричард Кольдингам».

И Смальгольмский барон, изумлен, поражен,
И хладел, и бледнел, и дрожал.
«Нет! в могиле покой; он лежит под землей,
Ты неправду мне, паж мой, сказал.

'Where fair Tweed flows round holy Melrose,
And Eildon slopes to the plain,
Full three nights ago, by some secret foe,
That gay gallant was slain.

'The varying light deceived thy sight,
And the wild winds drown'd the name;
For the Dryburgh bells ring and the white monks do sing
For Sir Richard of Coldinghame!'

He pass'd the court-gate, and he oped the tower-grate,
And he mounted the narrow stair
To the bartizan-seat, where, with maids that on her wait
He found his lady fair.

That lady sat in mournful mood,
Look'd over hill and vale,
Over Tweed's fair flood and Mertoun's wood
And all down Teviotdale.

'Now hail, now hail, thou lady bright!
'Now hail, thou Baron true!
What news, what news from Ancram fight?
What news from the bold Buccleuch?'

'The Ancram Moor is red with gore,
For many a southron fell;
And Buccleuch has charged us evermore
To watch our beacons well.'

The lady blush'd red, but nothing she said;
Nor added the Baron a word.
Then she stepp'd down the stair to her chamber fair,
And so did her moody lord.

In sleep the lady mourn'd, and the Baron toss'd and turn'd,
And oft to himself he said,
'The worms around him creep, and his bloody grave is deep—
It cannot give up the dead!'

Где бежит и шумит меж утесами Твид,
Где подьется мрачный Эльдон,
Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдингам
Потаенным врагом умерщвлен.

Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд;
Оглушен был ты бурей ночной;
Уж три ночи, три дня, как поминки творят
Чернецы за его упокой».

Он идет в ворота, он уже на крыльце,
Он взошел по крутым ступеням
На площадку, и видит: с печалью в лице;
Одиноко-унылая, там

Молодая жена—и тиха, и бледна,
И в мечтании грустном глядит
На поля, небеса, на Мертонски леса,
На прозрачно бегущую Твид.

«Я с тобою опять, молодая жена».—
«В добрый час, благородный барон,
Что расскажешь ты мне? Решена ли война?
Поразил ли Боклю иль сражен?»

«Англичанин разбит; англичанин бежит
С Анкрамморских кровавых полей;
И Боклю наблюдать мне маяк мой велит
И беречься недобрых гостей».

При ответе таком изменилась лицом
И ни слова... ни слова и он;
И пошла в свой покой с наклоненной главой,
И за нею суровый барон.

Ночь покойна была, но заснуть не дала.
Он вздыхал, он с собой говорил:
«Не пробудится он; не подымеется он;
Мертвецы не встают из могил».

It was near the ringing of matin-bell,
The night was wellnigh done,
When a heavy sleep on that Baron fell,
On the eve of good Saint John.

The lady look'd through the chamber fair,
By the light of a dying flame;
And she was aware of a knight stood there—
Sir Richard of Coldinghame!

'Alas! away, away!' she cried,
'For the holy Virgin's sake!'
'Lady, I know who sleeps by thy side;
But, lady, he will not awake.

'By Eildon-tree, for long nights three,
In bloody grave have I lain;
The mass and the death-prayer are said for me,
But, lady, they are said in vain.

'By the Baron's brand, near Tweed's fair strand,
Most foully slain I fell;
And my restless sprite on the beacon's height
For a space is doom'd to dwell.

'At our trysting-place, for a certain space,
I must wander to and fro;
But I had not had power to come to thy bower
Had'st thou not conjured me so.'

Love master'd fear; her brow she cross'd—
'How, Richard, hast thou sped?
And art thou saved, or art thou lost?'
The vision shook his head!

'Who spilleth life shall forfeit life;
So bid thy lord believe:
That lawless love is guilt above,
This awful sign receive.'

Уж заря занялась; был таинственный час
Меж рассветом и утренней тьмой;
И глубоким он сном пред Ивановым днем
Вдруг заснул близ жены молодой.

Не спалось лишь ей, не смыкала очей...
И бродящим, открытым очам,
При лампадном огне, в шизаке и броне
Вдруг явился Ричард Кольдинггам.

«Воротись, удалися»,— она говорит.
«Я к свиданью тобой приглашен,
Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит,—
Не страшись, не услышит нас он.

Я во мраке ночном потаенным врагом
На дороге изменой убит;
Уж три ночи, три дня, как монахи меня
Поминают—и труп мой зарыт.

Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной!
И ужасный теперь ему сон!
И надолго во мгле на пустынной скале,
Где маяк, я бродить осужден;

Где видалися мы под защиту тьмы,
Там скитаюсь теперь мертвецом;
И сюда с высоты не сошел бы... но ты
Заклинала Ивановым днем».

Содрогнулась она и, смятенья полна,
Вопросила: «Но что же с тобой?
Дай один мне ответ—ты спасен ли иль нет?..»
Он печально потряс головой.

«Выкупается кровью пролитая кровь,—
То убийце скажи моему.
Беззаконную небо карает любовь,—
Ты сама будь свидетель тому».

He laid his left palm on an oaken beam,
His right upon her hand—
The lady shrunk, and fainting sunk,
For it scorch'd like a fiery brand.

The sable score of fingers four
Remains on that board impress'd;
And for evermore that lady wore
A covering on her wrist.

There is a nun in Dryburgh bower,
Ne'er looks upon the sun;
There is a monk in Melrose tower,
He speaketh word to none;

That nun who ne'er beholds the day,
That monk who speaks to none—
That nun was Smaylho'me's Lady gay,
That monk the bold Baron.



THE GRAY BROTHER

The Pope he was saying the high, high mass,
All on Saint Peter's day,
With the power to him given, by the saints
in heaven,
To wash men's sins away.

The Pope he was saying the blessed mass,
And the people kneel'd around,
And from each man's soul his sins did pass,
As he kiss'd the holy ground.

Он тяжелою шуйцей коснулся стола;
Ей десницею руку пожал –
И десница как острое пламя была,
И по членам огонь пробежал.

И печать роковая в столе вожжена:
Отразились пальцы на нем;
На руке ж – но таинственно руку она
Закрывала с тех пор полотном.

Есть монахиня в древних Драйбургских стенах:
И грустна и на свет не глядит;
Есть в Мельрозской обители мрачный монах:
И дичится людей и молчит.

Сей монах молчаливый и мрачный – кто он?
Та монахиня – кто же она?
То убийца, суровый Смальгольмский барон;
То его молодая жена.



ПОКАЯНИЕ

Баллада

Был папа готов литургию свершать,
Сияя в святом облачении,
С могуществом, данным ему, отпускать
Всем грешникам их прегрешеньи.

И папа обряд очищенья свершал;
Во прахе народ простирался;
И кто с покаянием прах лобызал,
От всех тот грехов очищался.

Органа торжественный гром восходил
Горé во святом фимиаме,
И страх соприсутствия Божия был
Разлит благодатно во храме.

Святейшее слово он хочет сказать –
Устам не покорствуют звуки;

And all, among the crowded throng,
Was still, both limb and tongue,
While, through vaulted roof and aisles aloof,
The holy accents rung.

At the holiest word lie quiver'd for fear,
And falter'd in the sound,
And, when he would the chalice rear,
He dropp'd it to the ground.

'The breath of one of evil deed
Pollutes our sacred day;
He has no portion in our creed,
No part in what I say.

A being, whom no blessed word
To ghostly peace can bring;
A wretch, at whose approach abhorr'd,
Recoils each holy thing.

Up, up, unhappy! haste, arise!
My adjuration fear!
I charge thee not to stop my voice,
Nor longer tarry here!

Amid them all a pilgrim kneel'd,
In gown of sackcloth grey;
Far journeying from his native field,
He first saw Rome that day.

Сосуд живоносный он хочет поднять –
Дрожащие падают руки.

«Есть грешник великий во храме святом!
И бремя на нем святотатства!
Нет части ему в разрешеньи моем:
Он здесь не от нашего братства.

Нет слова, чтоб мир водворило оно
В душе, погубленной отныне;
И он обретет осужденье одно
В чистойшей небесной святыне.

Беги ж, осужденный; отвергнись от нас;
Не жди моего заклинанья;
Беги: да свершу невозбранно в сей час
Великий обряд покаянья».

С толпой на коленях стоял пилигрим,
В простую одет власяницу;
Впервые узрел он сияющий Рим,
Великую веры столицу.

Молчанье храня, он пришел из своей
Далекой отчизны, как нищий;
И целые сорок он дней и ночей
Почти не касался до пищи.

И в храме, в святой покаяния час,
Усердней никто не молился...
Но грянул над ним заклинательный глас –
Он бледен поднялся и скрылся.

Спешит запрещенный покинуть он Рим.
Преследуем словом ужасным,
К Шотландским идет он горам голубым,
К озерам отечества ясным.

Когда ж возвратился в отечество он,
В старинную дедов обитель:
Вассалы к нему собрались на поклон,
И ждали, что скажет властитель.

Но прежний властитель, дотоле вождем
Их бывший ко славе победной,

For forty days and nights so drear,
I ween, he had not spoke,
And, save with bread and water clear,
His fast he ne'er had broke.

Amid the penitential flock,
Seem'd none more bent to pray;
But, when the Holy Father spoke,
He rose and went his way.

Again unto his native land
His weary course he drew,
To Lothian's fair and fertile strand,
And Pentland's mountains blue.

His unblest feet his native seat,
'Mid Eske's fair woods, regain;
Thro' woods more fair no stream
more sweet
Rolls to the eastern main.

And lords to meet the pilgrim came,
And vassals bent the knee;
For all 'mid Scotland's chiefs of fame,
Was none more famed than he.

~

And boldly for his country still
In battle he had stood,
Ay, even when on the banks of Till
Her noblest pour'd their blood.

Их принял с унылым, суровым лицом,
С потухшими взорами, бледной!
Сложил он с вассалов подданства обет,
И с ними безмолвно простился;
Покинул он замок, покинул он свет,
И в келью отшельником скрылся.
Себя он обрек на молчанье и труд;
Без сна проводил он все ночи;
Как бледный убийца, ведомый на суд,
Бродил он, потупивши очи.
Не знал он покрова ни в холод, ни в дождь;
В раздранной ходил власянице;
И в келье, бывалый властитель и вождь,
Гнездилися, как мертвый в гробнице.
В святой монастырь Богоматери дал
Он часть своего достоянья:
Чтоб там о *погибших* собор совершал
Вседневно обряд поминанья.
Когда ж поминанье собор совершал,
Моляся в усердии теплом:
Он в храм не входил; перед дверью лежал
Он в прахе, осыпанный пеплом.
Окрест сторона та прекрасна была:
Река, наравне с берегами,
По зелени яркой лазурно текла
И зелень поила струями;
Живые дороги вились по полям;
Меж нивами села блистали;
Пестрели стада; отвечая рогам,
Долины и холмы звучали;
Святой монастырь на пригорке стоял
За темною кленов оградой:
Меж ними – в то время, как вечер сиял –
Багряной горел он громадой.
Но грешным очам неприметна краса
Веселой окрестной природы;

Без блеска для мертвой души небеса,
Без голоса роши и воды.
Есть место... туда, как могильная тень,
Одною дорогой он ходит;
Там часто задумчив сидит он весь день,
Там часто и ночи проводит.
В лесном захолустье, где сонный ворчит
Источник, влачась лениво,
На дикой поляне часовня стоит
В обломках, заглохших крапивой;
И черны обломки: пожар там прошел;
Золою, стопившейся в камень,
И падшею кровлей задавленный пол,
Решетки, стерпевшие пламень.
И полосы дыма на голых стенах,
И древний алтарь без святыни,
Все сердцу твердит, пробуждая в нем страх,
О тайне сей мрачной пустыни.
Ужасное дело свершилось там:
В часовне пустынного места,
В час ночи, обет принося небесам,
Стояли жених и невеста.
К красавице бурною страстью пылал
Округи могучий властитель;
Но нравился боле ей скромный вассал,
Чем гордый его повелитель.
Соперника ревность была им страшна:
И втайне их брак совершился.
Уж клятва любви небесам предана,
И пастырь над ними молился...
Вдруг топот и клики и пламя кругом!
Их тайна открыта; в кипенье
Обиды, любви, обезумлен вином,
Дерзнул он на страшное мщенье:
Захлопнуты двери; часовня горит;
Стенаньям смеется губитель;

It fell upon a summer's eve,
While, on Carnethy's head,
The last faint gleams of the sun's low beams
Had streak'd the grey with red;

And the convent bell did vespers tell
Newbattle's oaks among,
And mingled with the solemn knell
Our Ladye's evening song:

The heavy knell, the choir's faint swell,
Came slowly down the wind,
And on the pilgrim's ear they fell,
As his wonted path he did find.

Deep sunk in thought, I ween, he was,
Nor ever raised his eye,
Until he came to that dreary place,
Which did all in ruins lie.

He gazed on the walls so scathed with fire,
With many a bitter groan –
And there was aware of a Gray Friar.
Resting him on a stone.

'Now, Christ thee save!' said the Gray Brother;
'Some pilgrim thou seemest to be.'
But in sore amaze did Lord Albert gaze,
Nor answer again made he.

'O come ye from east, or come ye from west,
Or bring reliques from over the sea?

Все пышет, валится, трещит и гремит,
И в пепле святыни обитель. –

Был вечер прекрасен и тих и душист;
На горных вершинах сияло;
Свод неба глубокий был темен и чист;
Торжественно все утихало.

В обители иноков слышался звон:
Там было вечернее бденье;
И иноки пели хвалебный канон,
И было их сладостно пенье.

По-прежнему грустен, по-прежнему дик,
(Уж годы прошли в покаянье)
На место, где сердце он мучить привык,
Он шел, погруженный в молчанье.

Но вечер невольно беседовал с ним
Своей миротворной красою,
И тихой земли усыплением святым,
И звездных небес тишиною.

И воздух его обнимал теплотой,
И пил аромат он целебный.
И вслух долетал издалека порой
Отшельников голос хвалебный.

И с чувством, давно позабытым, поднял
На небо он взор свой угрюмой,
И долго смотрел и недвижим стоял,
Окованный тайною думой...

Но вдруг содрогнулся – как будто о чем
Ужасном он вспомнил – глубоко
Вздыхнул, стал бледней, и обычным путем
Пошел, как мертвец, одиноко.

Главу опустя, безнадежно уныл,
Отчаянно стиснувши руки,
Приходит туда он, куда приходил
Уж годы вседневно для муки.

И видит... у входа часовни сидит
Чернец в размышленьи глубоко:

Он чуден лицом; на него он глядит
Пронзающим внутренность оком.
И тихо сказал наконец он: Христос
Тебя сохрани и помилуй!
И грешнику душу привет сей потрѣс,
Как луч воскресенья могилу.
– Ответствуй мне, кто ты? (чернец спросил)
Свою мне поведай судьбину;
По виду ты странник; быть может, ходил,
Свершая обет, в Палестину?
Или ко гробам чудотворцев святых
Свое приносил поклоненье?
С собою мощей не принес ли каких,
Дарующих грешным спасенье?
«Мощей не принес я; к гробам не ходил,
Спасаящим нас благодатью;
Не зрел Палестины... но в Риме я был,
И предан навеки проклятью».
– Проклятия вечного нет для живых:
Есть верный за падших Заступник.
Приди, исповедайся в тайных своих
Грехах предо мною, преступник. –
«Что сделать невластен святейший отец,
Владыка и Божий наместник,
Тебе ли то сделать? И кто ты, чернец?
Кем послан ты, милости вестник?»
– Я здесь издалека: был в той стороне,
Где ведома участь земного.
Здесь память заглазить позволено мне
Ужасного дела ночного. –
При слове сем грешник на землю упал...
Все члены его трепетали...
Он исповедь начал... но что он сказал,
Того на земле не узнали.
Лишь месяц их тайным свидетелем был,
Смотря сквозь древесные сени;

FROM "MARMION"

Canto Second

THE CONVENT

I

The breeze, which swept away the smoke,
Round Norham Castle roll'd,
When all the loud artillery spoke,
With lightning-flash, and thunder-stroke,
As Marmion left the Hold.
It curl'd not Tweed alone, that breeze,
For, far upon Northumbrian seas,
It freshly blew, and strong,
Where, from high Whitby's cloister'd pile,
Bound to St. Cuthbert's Holy Isle,
It bore a bark along.

И, мнилось, в то время, когда он светил,
Две легкие веяли тени.
Двумя облачками казались оне;
Всё выше, всё выше взлетали;
И все неразлучны: и вдруг в вышине
С лазурью слились и пропали.
И он на земле не встречался с тех пор.
Одно сохранилось в преданье:
С обычным обрядом священный собор
Во храме свершал поминанье.
И пенем торжественным полон был храм,
И тихо дымились кадилы,
И вместе с земными невидимо там
Служили небесные Силы.
И в храм он вошел, к алтарю приступил,
Пречистых Даров причастился,
На небо сияющий взор устремил,
Сжал набожно руки... и скрылся.



СУД В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Повесть

(Отрывок)

I

Уж день прохладно вечерел,
И свод лазоревый аел;
На нем сверкали облака;
Дыханьем свежим ветерка
Был воздух сладко растворен;
Играя, вея, морщил он
Пурпурно-блещущий залив;
И, белый парус распустив,
Заливом тем ладья плыла;
Из Витби инокинь несла,
По легким прыгая зыбям,
Она к Кутбертовым брегам.

Upon the gale she stoop'd her side,
And bounded o'er the swelling tide,
 As she were dancing home;
The merry seamen laugh'd, to see
Their gallant ship so lustily
 Furrow the green sea-foam.
Much joy'd they in their honour'd freight;
For, on the deck, in chair of state,
The Abbess of Saint Hilda placed,
With five fair nuns, the galley graced.

II

'Twas sweet to see those holy maids,
Like birds escaped to green-wood shades,
 Their first flight from the cage,
How timid, and how curious too,
For all to them was strange and new,
And all the common sights they view,
 Their wonderment engage.
One eyed the shrouds and swelling sail,
 With many a benedicite;
One at the rippling surge grew pale,
And would for terror pray;
Then shriek'd, because the sea-dog, nigh,
His round black head, and sparkling eye,
 Rear'd o'er the foaming spray;
And one would still adjust her veil,
Disorder'd by the summer gale,
Perchance lest some more worldly eye
Her dedicated charms might spy;
 Perchance, because such action graced
Her fair-turn'd arm and slender waist.
Light was each simple bosom there,
Save two, who ill might pleasure share,—
The Abbess, and the Novice Clare.

Летит веселая ладья;
Покрыта палуба ея
Большим узорчатым ковром;
Резной высокий стул на нем
С подушкой бархатной стоит;
И мать игуменья сидит
На стуле в помыслах святых;
С ней пять монахинь молодых.

II

Впервой покинув душный плесн
Печальных монастырских стен,
Как птички в вольной вышине,
По гладкой палубе оне
Играют, рѣзвятся, шалят...
Все веселит их, как ребят:
Той шаткий парус страшен был,
Когда им ветер шевелил
И он, надувшись, гремел;
Крестилась та, когда белел,
Катясь к ладье, кипучий вал,
Ее ловил и подымал
На свой изгибистый хребет;
Ту веселил зеленый цвет
Морской чудесной глубины;
Когда ж из пенистой волны,
Как черная незапно тень,
Пред ней выскакивал тюлень,
Бросалась с криком прочь она
И долго, трепетна, бледна,
Читала шепотом псалом;
У той был резвым ветерком
Покров развеян головной,
Густою шелковой струей
Лились на плечи волоса,

III

The Abbess was of noble blood,
But early took the veil and hood,
Ere upon life she cast a look,
Or knew the world that she forsook.
Fair too she was, and kind had been
As she was fair, but ne'er had seen
For her a timid lover sigh,
Nor knew the influence of her eye.
Love, to her ear, was but a name,
Combined with vanity and shame;
Her hopes, her fears, her joys, were all
Bounded within the cloister wall:
The deadliest sin her mind could reach,
Was of monastic rule the breach;
And her ambition's highest aim
To emulate Saint Hilda's fame.
For this she gave her ample dower,
To raise the convent's eastern tower;
For this, with carving rare and quaint,
She deck'd the chapel of the saint,
And gave the relic-shrine of cost,
With ivory and gems emboss'd.
The poor her Convent's bounty blest,
The pilgrim in its halls found rest.

IV

Black was her garb, her rigid rule
Reform'd on Benedictine school;
Her cheek was pale, her form was spare;
Vigils, and penitence austere,
Had early quench'd the light of youth,
But gentle was the dame, in sooth;
Though vain of her religious sway,
She loved to see her maids obey,
Yet nothing stern was she in cell,
And the nuns loved their Abbess well.
Sad was this voyage to the dame;

И груди тайная краса
Мелькала ярко меж волос,
И девственный поймать покров
Ее заботилась рука,
А взор стерег исподтишка,
Не любовался ль кто за ней
Заветной прелестью грудей.

III

Игуменя порою той
Вкушала с важностью покой,
В подушках нежась пуховых,
И на монахинь молодых
Смотрела с ласковым лицом.
Она вступила в Божий дом
Во цвете первых детских лет,
Не оглянулася на свет
И, жизнь навеки затворя
В безмолвии монастыря,
По слуху знала издали
О треволнениях земли,
О том, что радость, что любовь
Смущают ум, волнуют кровь,
И с непроснувшейся душой
Достигла старости святой,
Сердечных смут не испытал;
Тяжелый инокинь устав
Смиренно, строго сохранять,
Души спасения искать
Блаженной Гильды по следам,
Служить ее честным мощам,
И день и ночь в молитве быть,
И день и ночь огонь хранить
Лампад, горящих у икон:
В таких заботах проведен

Summon'd to Lindisfarne, she came,
There, with Saint Cuthbert's Abbot old,
And Tynemouth's Prioress, to hold
A chapter of Saint Benedict,
For inquisition stern and strict,
On two apostates from the faith,
And, if need were, to doom to death.

V

Nought say I here of Sister Clare,
Save this, that she was young and fair;
As yet a novice unprofess'd,
Lovely and gentle, but distress'd.
She was betroth'd to one now dead,
Or worse, who had dishonour'd fled.
Her kinsmen bade her give her hand
To one, who loved her for her land:
Herself almost heart-broken now,
Was bent to take the vestal vow,
And shroud, within Saint Hilda's gloom,
Her blasted hopes and wither'd bloom.

VI

She sate upon the galley's prow,
And seem'd to mark the waves below;
Nay, seem'd, so fix'd her look and eye,
To count them as they glided by.
She saw them not—'twas seeming all—
Far other scene her thoughts recall,—
A sun-scorch'd desert, waste and bare,
Nor waves, nor breezes, murmur'd there;
There saw she, where some careless hand
O'er a dead corpse had heap'd the sand,
To hide it till the jackals come,
To tear it from the scanty tomb.
See what a woful look was given,
As she raised up her eyes to heaven!

Был век ее. Богатый вклад
На обновление оград
Монастыря дала она;
Часовня Гильды убрана
Была на славу от нее:
Сияло пышное шитье
Там на покрове гробовом,
И, обложенный жемчугом,
Был вылит гроб из серебра;
И много делала добра
Она убогим и больным,
И возвращался пилигрим
От стен ее монастыря,
Хваля небесного царя.
Имела важный вид она,
Была худа, была бледна;
Был величав высокий рост;
Лицо являло строгий пост,
И покаянье тмило взор.
Хотя в ней с самых давних пор
Была лишь к иночеству страсть,
Хоть строго данную ей власть
В монастыре она блюла,
Но для смиренных сестр была
Она лишь ласковая мать:
Свободно было им дышать
В своей келейной тишине,
И мать игуменью оне
Любили детски всей душой.
Куда ж той позднею порой
Через залив плыла она?
Была в Линдфарн приглашена
Она с игуменьей другой;
И там их ждал аббат святой
Кутбертова монастыря,
Чтобы, собором сотворя

VII

Lovely, and gentle, and distress'd—
These charms might tame the fiercest breast:
Harpers have sung, and poets told,
That he, in fury uncontroll'd,
The shaggy monarch of the wood,
Before a virgin, fair and good,
Hath pacified his savage mood.
But passions in the human frame,
Oft put the lion's rage to shame:
And jealousy, by dark intrigue,
With sordid avarice in league,
Had practised with their bowl and knife,
Against the mourner's harmless life.
This crime was charged 'gainst those who lay
Prison'd in Cuthbert's islet grey.

VIII

And now the vessel skirts the strand
Of mountainous Northumberland;
Towns, towers, and halls, successive rise,
And catch the nuns' delighted eyes.
Monk-Wearmouth soon behind them lay,
And Tynemouth's priory and bay;
They mark'd, amid her trees, the hall
Of lofty Seaton-Delaval;
They saw the Blythe and Wansbeck floods
Rush to the sea through sounding woods;
They pass'd the tower of Widderington,
Mother of many a valiant son;
At Coquet-isle their beads they tell
To the good Saint who own'd the cell;
Then did the Alnë attention claim,
And Warkworth, proud of Percy's name;
And next, they cross'd themselves, to hear
The whitening breakers sound so near,
Where, boiling through the rocks, they roar,
On Dunstanborough's cavern'd shore;

Кровавый суд, проклятье дать
Отступнице, дерзнувшей снять
С себя монашества обет
И, сатане продав за свет
Все блага кельи и креста,
Забуть Спасителя Христа.

IV

Ладья вдоль берега летит,
И берег весь назад бежит;
Мелькают мимо их очей
В сиянье западных лучей:
Там замок на скале крутой
И бездна пены под скалой
От расшибаемых валов;
Там башня, сторож берегов,
Густым одетая плющом;
Там холм, увенчанный селом;
Там золото цветущих нив;
Там зеленеющий залив
В тени зеленых берегов;
Там Божий храм, среди дерев
Блестящий яркой белизной.
И остров, наконец, святой
С Кутбертовым монастырем,
Облитый вечера огнем,
Громадою багряных скал
Из вод вдали пред ними встал,
И, приближаясь, тихо рос,
И вдруг над их главой вознес
Свой брег крутой со всех сторон.
И остров и не остров он;
Два раза в день морской отлив,
Песок подводный обнажив,
Противный брег сливает с ним:

Thy tower, proud Bamborough, mark'd they there,
King Ida's castle, huge and square,
From its tall rock look grimly down,
And on the swelling ocean frown;
Then from the coast they bore away,
And reach'd the Holy Island's bay.

IX

The tide did now its flood-mark gain,
And girdled in the Saint's domain:
For, with the flow and ebb, its style
Varies from continent to isle;
Dry-shod, o'er sands, twice every day,
The pilgrims to the shrine find way;
Twice every day, the waves efface
Of staves and sandall'd feet the trace.
As to the port the galley flew,
Higher and higher rose to view
The Castle with its battled walls,
The ancient Monastery's halls,
A solemn, huge, and dark-red pile,
Placed on the margin of the isle.

X

In Saxon strength that Abbey frown'd,
With massive arches broad and round,
That rose alternate, row and row,
On ponderous columns, short and low,
Built ere the art was known,
By pointed aisle, and shafted stalk,
The arcades of an alley'd walk
To emulate in stone.
On the deep walls, the heathen Dane
Had pour'd his impious rage in vain;
And needful was such strength to these,
Exposed to the tempestuous seas,
Scourged by the winds' eternal sway,
Open to rovers fierce as they,
Which could twelve hundred years withstand

Тогда поклонник пилигрим
На богомолье по пескам
Пешком идет в Кутбертов храм;
Два раза в день морской прилив,
Его от тверди отделив,
Стирает силою воды
С песка поклонников следы.—
Нес ветер к берегу ладью;
На самом берега краю
Стоял Кутбертов древний дом,
И волны пенились кругом.

V

Стоит то здание давно;
Саксонов памятник, оно
Меж скал крутых крутой скалою
Восходит грозно над водой;
Все стены страшной толщины
Из грубых камней сложены;
Зубцы, как горы, на стенах;
На низких тягостных столбах
Лежит огромный храма свод;
Кругом идет широкий ход,
Являя бесконечный ряд
Силетенных ветвями аркад;
И крепки башни на углах
Стоят, как стражи на часах.
Вотще их крепость превозмочь
Пыталась вражеская мочь
Жестоких нехристей датчан;
Вотще волнами океан
Всечасно их разит, дробит;
Святое здание стоит
Недвижимо с давнишних пор;
Морских разбойников напор,

Winds, waves, and northern pirates' hand.
Not but that portions of the pile,
Rebuilt in a later style,
Showed where the spoiler's hand had been;
Not but the wasting sea-breeze keen
Had worn the pillar's carving quaint,
And moulder'd in his niche the saint,
And rounded, with consuming power,
The pointed angles of each tower;
Yet still entire the Abbey stood,
Like veteran, worn, but unsubdued.

XI

Soon as they near'd his turrets strong,
The maidens raised Saint Hilda's song,
And with the sea-wave and the wind,
Their voices, sweetly shrill, combined,
 And made harmonious close;
Then, answering from the sandy shore,
Half-drown'd amid the breakers' roar,
 According chorus rose:
Down to the haven of the Isle,
The monks and nuns in order file,
 From Cuthbert's cloisters grim;
Banner, and cross, and relics there,
To meet Saint Hilda's maids, they bare;
And, as they caught the sounds on air,
 They echoed back the hymn.
The islanders, in joyous mood,
Rush'd emulously through the flood,
 To hale the bark to land;
Conspicuous by her veil and hood,
Signing the cross, the Abbess stood,
 And bless'd them with her hand.



XII

Suppose we now the welcome said,
Suppose the Convent banquet made;
 All through the holy dome,

Набеги хлада, бурь, валов
И силу грозную годов
Перетерпев, как в старину,
Оно морскую глубину
Своей громадою гнетет;
Лишь кое-где растреснул свод,
Да в нише лик разбит святой,
Да мох растет везде седой,
Да стен углы оточены
Упорным трением волны.

VI

В ладье монахини плывут;
Приближась к берегу, поют
Святую Гильды песнь оне;
Их голос в поздней тишине,
Как бы сходящий с вышины,
Слиясь с гармонией волны,
По небу звонко пробежал;
И с брега хор им отвечал,
И вышел из святых ворот
С хоругвями, крестами ход
Навстречу инокинь честных:
И возвестил явленье их
Колоколов согласный звон,
И был он звучно повторен
Отзывом ближних, дальних скал
И весь народ на брег созвал.
С ладьи игуменья сошла,
Благословенье всем дала
И, подпираясь костылем,
Пошла в святой Кутбертов дом
Вослед хоругвей и крестов.

Through cloister, aisle, and gallery,
 Wherever vestal maid might pry,
 Nor risk to meet unhallow'd eye,
 The stranger sisters roam:
 Till fell the evening damp with dew,
 And the sharp sea-breeze coldly blew,
 For there, even summer night is chill.
 Then, having stray'd and gazed their fill,
 They closed around the fire;
 And all, in turn, essay'd to paint
 The rival merits of their saint,
 A theme that ne'er can tire
 A holy maid; for, be it known,
 That their saint's honour is their own.

XIII

Then Whitby's nuns exulting told,
 How to their house three Barons bold
 Must menial service do;
 While horns blow out a note of shame,
 And monks cry "Fye upon your name!
 In wrath, for loss of silvan game,
 Saint Hilda's priest ye slew."—
 "This, on Ascension-day, each year,
 While labouring on our harbour-pier,
 Must Herbert, Bruce, and Percy hear."—
 They told, how in their convent-cell
 A Saxon princess once did dwell,
 The lovely Edelfled;
 And how, of thousand snakes, each one
 Was changed into a coil of stone,
 When holy Hilda pray'd;
 Themselves, within their holy bound,
 Their stony folds had often found.
 They told, how sea-fowls' pinions fail,
 As over Whitby's towers they sail,
 And, sinking down, with flutterings faint,
 They do their homage to the saint.

VII

Им стол в трапезнице готов;
Садятся ужинать; потом
Обширный монастырский дом
Толпой осматривать идут;
Смеются, рэзвятся, поют;
Заходят в кельи, в древний храм,
Творят поклоны образам
И молятся мощам святым...
Но вечер холодом сырым
И резкий с моря ветерок
Собраться нудят всех в кружок
К огню, хозяек и гостей;
Жужжат, лепечут; как ручей,
Веселый льется разговор;
И наконец меж ними спор
О том заходит, чей святой
Своею жизнью земной
И боле славы заслужил
И боле небу угодил?

VIII

«Святая Гильда (говорят
Монахини из Витби) вряд
Отдаст ли первенство кому!
Известна ж боле потому
Ее обитель с давних дней,
Что три барона знатных ей
Служить вассалами должны;
Угодницей осуждены
Когда-то были Брюс, Герберт
И Перси; суд сей был простерт
На их потомство до конца
Всего их рода: чернеца
Они дерзнули умертвить.

XIV

Nor did Saint Cuthbert's daughters fail,
To vie with these in holy tale;
His body's resting-place, of old,
How oft their patron changed, they told;
How, when the rude Dane burn'd their pile,
The monks fled forth from Holy Isle;
O'er northern mountain, marsh, and moor,
From sea to sea, from shore to shore,
Seven years Saint Cuthbert's corpse they bore:

They rested them in fair Melrose;

But though, alive, he loved it well,

Not there his relics might repose;

For, wondrous tale to tell!

In his stone-coffin forth he rides,

A ponderous bark for river tides,

Yet light as gossamer it glides,

Downward to Tillmouth cell.

Nor long was his abiding there,

For southward did the saint repair;

Chester-le-Street, and Rippon, saw

His holy corpse, ere Wardilaw

Hail'd him with joy and fear;

And, after many wanderings past,

He chose his lordly seat at last,

Where his cathedral, huge and vast,

Looks down upon the Wear:

There, deep in Durham's Gothic shade,

His relics are in secret laid;

But none may know the place,

Save of his holiest servants three,

Deep sworn to solemn secrecy,

Who share that wondrous grace.



XV

Who may his miracles declare!

Even Scotland's dauntless king, and heir,

(Although with them they led

С тех пор должны к нам приходять
Три старших в роде каждый год
В дсьн Вознесенья, и народ
Тут видит, как игумен их
Становит рядом у честных
Мощей угодницы святой,
Как над склоненной их главой
Прочтет псалом, как наконец
С словами: *все простил чернец!*
Им разрешение дает;
Тогда *аминь!* гласит народ.
К нам повесть древняя дошла
О том, как некогда жила
У нас саксонская княжна,
Как наша вся была полна
Округа ядовитых змей,
Как Гильда, вняв мольбам своей
Любимицы, святой княжны,
Явилась, как превращены
Все змеи в камень, как с тех пор
Находят в недре наших гор
Окаменелых много змей.
Еще же древность нам об ней
Сказание передала:
Как раз во гневе прокляла
Она пролетных журавлей
И как с тех пор до наших дней,
Едва на Витби налетит
Журавль, застонет, закричит,
Перевернется, упадет
И чудной смертью отдает
Угоднице блаженной честь».

IX

«А наш Кутберт? Не перечесть
Его чудес. Теперь покой
Нашел уж гроб его святой;

Galwegians, wild as ocean's gale,
And Lodon's knights, all sheathed in mail,
And the bold men of Teviotdale,)

Before his standard fled.

'Twas he, to vindicate his reign,
Edged Alfred's falchion on the Dane,
And turn'd the Conqueror back again,
When, with his Norman bowyer band,
He came to waste Northumberland.

XVI

But fain Saint Hilda's nuns would learn
If, on a rock, by Lindisfarne,
Saint Cuthbert sits, and toils to frame
The sea-born beads that bear his name:
Such tales had Whitby's fishers told,
And said they might his shape behold,
And hear his anvil sound;
A deaden'd clang,—a huge dim form,
Seen but, and heard, when gathering storm
And night were closing round.
But this, as tale of idle fame,
The nuns of Lindisfarne disclaim.

XVII

While round the fire such legends go,
Far different was the scene of woe,
Where, in a secret aisle beneath,
Council was held of life and death.
It was more dark and lone that vault,
Than the worst dungeon cell:
Old Colwulf built it, for his fault,
In penitence to dwell,
When he, for cowl and beads, laid down
The Saxon battle-axe and crown.
This den, which, chilling every sense
Of feeling, hearing, sight,
Was call'd the Vault of Penitence,
Excluding air and light,

Но прежде... что он претерпел!
От датских хищников сгорел
Линдфарн, приют с давнишних дней
Честных угодника мошей;
Монахи гроб его спасли
И с гробом странствовать пошли
Из земли в землю, по полям,
Лесам, болотам и горам;
Семь лет в молитве и трудах
С тяжелым гробом на плечах
Они скитались; в Мельрос
Их напоследок Бог принес;
Мельрос Кутберт живой любил,
Но мертвый в нем не рассудил
Он для себя избрать приют,
И чудо совершилось тут:
Хоть тяжкий гроб из камня был,
Но от Мельроса вдруг поплыл
По Твиду он, как легкий челн.
На юг теченьем быстрых волн
Его помчало; миновав
Тильмут и Риппон, в Вардилав,
Препон не встретя, наконец
Привел свой гроб святой пловец;
И выбрал он в жилище там
Святой готический Дургам;
Но где святого погребли,
Ту тайну знают на земли
Лишь только трое; и когда
Которому из них чреда
Расстаться с жизнью придет,
Он на духу передает
Ее другому; тот молчит
Дотоль, пока не разрешит
Его молчанья смертный час.

Was, by the prelate Sexhelm, made
 A place of burial for such dead,
 As, having died in mortal sin,
 Might not be laid the church within.
 'Twas now a place of punishment;
 Whence if so loud a shriek were sent,
 As reach'd the upper air,
 The hearers bless'd themselves, and said,
 The spirits of the sinful dead
 Bemoan'd their torments there.

XVIII

But though, in the monastic pile,
 Did of this penitential aisle
 Some vague tradition go,
 Few only, save the Abbot, knew
 Where the place lay; and still more few
 Were those, who had from him the clew
 To that dread vault to go.
 Victim and executioner
 Were blindfold when transported there.
 In low dark rounds the arches hung,
 From the rude rock the side-walls sprung;
 The grave-stones, rudely sculptured o'er,
 Half sunk in earth, by time half wore,
 Were all the pavement of the floor;
 The mildew-drops fell one by one,
 With twinkling splash, upon the stone.
 A cresset, in 'an iron chain,
 Which served to light this drear domain,
 With damp and darkness seem'd to strive,
 As if it scarce might keep alive;
 And yet it dimly served to show
 The awful conclave met below.

XIX

'There, met to doom in secrecy,
 Were placed the heads of convents three:

И мало ль чудесами нас
Святой угодник изумял?
На нашу Англию напал
Король шотландский, злой тиран;
Пришла с ним рать галвегиан,
Неистовых, как море их;
Он рыцарей привел своих,
Разбойников, залитых в сталь;
Он весь подвигнул Тевьотдаль;
Но рать его костями легла:
Для нас Кутбертова была
Хоругвь спасением от бед.
Им ободрен был и Альфред
На поражение датчан;
Пред ним впервой и сам Норман-
Завоеватель страх узнал
И из Нортумбрии бежал».

X

Монахини из Витби тут
Сестрам линдфарнским задают
С усмешкою вопрос такой:
«А правда ли, что ваш святой
По свету бродит кузнецом?
Что он огромным молотком
По тяжелой наковальне бьет
И им жемчужины кует?
Что на работу ходит он,
Туманной рясой облачен?
Что на приморской он скале,
Чернее мглы, стоит во мгле?
И что, покуда молот бьет,
Он ветер на море зовет?
И что в то время рыбаки
Уводят в пристань челноки,

All servants of Saint Benedict,
The statutes of whose order strict
On iron table lay;
In long black dress, on seats of stone,
Behind were these three judges shown
By the pale cresset's ray:
The Abbess of Saint Hilda's, there,
Sat for a space with visage bare,
Until, to hide her bosom's swell,
And tear-drops that for pity fell,
She closely drew her veil:
Yon shrouded figure, as I guess,
By her proud mien and flowing dress,
Is Tynemouth's haughty Prioress,
And she with awe looks pale:
And he, that Ancient Man, whose sight
Has long been quenched by age's night,
Upon whose wrinkled brow alone,
Nor ruth, nor mercy's trace, is shown,
Whose look is hard and stern,—
Saint Cuthbert's Abbot is his style;
For sanctity call'd, through the isle,
The Saint of Lindisfarne.

XX

Before them stood a guilty pair;
But, though an equal fate they share,
Yet one alone deserves our care.
Her sex a page's dress belied;
The cloak and doublet, loosely tied,
Obscured her charms, but could not hide.
Her cap down o'er her face she drew;
And, on her doublet breast,
She tried to hide the badge of blue,
Lord Marmion's falcon crest.
But, at the Prioress' command,
A monk undid the silken band,
That tied her tresses fair,
And raised the bonnet from her head,
And down her slender form they spread,

Боясь, чтоб бурю ночной
Не утопил их ваш святой?»
Сестер линдфарнских оскорбил
Такой вопрос; ответ их был:
«Пустого много бредит свет;
Об этом здесь и слуху нет;
Кутберт, блаженный наш отец,
Честной угодник, не кузнец».

XI

Так весело перед огнем
Шел о житейском, о святом
Между монахинь разговор.
А близко был иной собор,
И суд иной происходил.
Под зданьем монастырским был
Тайник — страшной темницы нет;
Король Кольвульф, покинув свет,
Жил произвольным мертвецом
В глубоком подземелье том.
Сперва в монастыре оно
Смиренья кельей названо;
Потом в ужасной келье той,
Куда ни разу луч дневной,
Ни воздух Божий не входил,
Прелат Сексгельм определил
Кладбищу осужденных быть;
Но наконец там хоронить
Не мертвых стали, а живых:
О бедственной судьбине их
Молчал неведомый тайник;
И суд, и казнь, и жертвы крик —
Все жадно поглощалось им;
А если случаем каким
Невнятный стон из глубины
И доходил до вышины,

In ringlets rich and rare.
Constance de Beverley they know,
Sister profess'd of Fontevraud,
Whom the Church number'd with the dead,
For broken vows, and convent fled.

XXI

When thus her face was given to view,
(Although so pallid was her hue,
It did a ghastly contrast bear
To those bright ringlets glistening fair,)
Her look composed, and steady eye,
Bespoke a matchless constancy;
And there she stood so calm and pale,
That, but her breathing did not fail,
And motion slight of eye and head,
And of her bosom, warranted
That neither sense nor pulse she lacks,
You might have thought a form of wax,
Wrought to the very life, was there;
So still she was, so pale, so fair.

XXII

Her comrade was a sordid soul,
Such as does murder for a meed;
Who, but of fear, knows no control,
Because his conscience, sear'd and foul,
Feels not the import of his deed;
One, whose brute-feeling ne'er aspires
Beyond his own more brute desires.
Such tools the Tempter ever needs,
To do the savagest of deeds;
For them no vision'd terrors daunt,
Their nights no fancied spectres haunt,
One fear with them, of all most base,
The fear of death,—alone finds place.
This wretch was clad in frock and cowl,
And shamed not loud to moan and howl,
His body on the floor to dash,

Никто из внемлющих не знал,
Кто, где и отчего стenal;
Шептали только меж собой,
Что там, глубоко под землей,
Во гробе мучится мертвец,
Свершивший дней своих конец
Без покаяния во зле
И непрощенный на земле.

XII

Хотя в монастыре о том
Заклепе казни роковом
И сохранилася молва,
Но где он был? Один иль два
Монаха знали то да сам
Отец аббат; и к тем местам
Ему лишь с ними доступ был;
С повязкой на глазах входил
За жертвой сам палач туда
В час совершения суда.
Там зрелся тесный, тяжкий свод;
Глубоко, ниже внешних вод,
Был выдолблен в утесе он;
Весь гробовыми замощен
Плитами пол неровный был;
И ряд покинутых могил
С полуистертою резьбой,
Полузатоптанных землей,
Являлся там; от мокроты
Скопляясь, капли с высоты
На камни падали; их звук
Однообразно-тих, как стук
Ночного маятника, был;
И бледно, трепетно светил,
Пуская дым, борясь со мглой,
Огонь в лампаде гробовой,

And crouch, like hound beneath the lash;
While his mute partner, standing near,
Waited her doom without a tear.

XXIII

Yet well the luckless wretch might shriek,
Well might her paleness terror speak!
For there were seen in that dark wall,
Two niches, narrow, deep and tall;—
Who enters at such grisly door,
Shall ne'er, I ween, find exit more.
In each a slender meal was laid,
Of roots, of water, and of bread:
By each, in Benedictine dress,
Two haggard monks stood motionless;
Who, holding high a blazing torch.
Show'd the grim entrance of the porch:
Reflecting back the smoky beam,
The dark-red walls and arches gleam.
Hewn stones and cément were display'd,
And building tools in order laid.

XXIV

These executioners were chose,
As men who were with mankind foes,
And with despite and envy fired,
Into the cloister had retired;
Or who, in desperate doubt of grace,
Strove, by deep penance, to efface
Of some foul crime the stain;
For, as the vassals of her will,
Such men the Church selected still,
As either joy'd in doing ill,
Or thought more grace to gain,
If, in her cause, they wrestled down
Feelings their nature strove to own.
By strange device were they brought there,
They knew not how, nor knew not where.

Висевшей тяжко на цепях;
И тускло на сырых стенах,
Покрытых плеснью, как корой,
Свет, поглощенный темнотою,
Туманным отблеском лежал.
Он в подземелье озарял
Явленье страшное тогда.

XIII

Три совершителя суда
Сидели рядом за столом;
Пред ними разложен на нем
Устав бенедиктинцев был;
И, чуть во мгле сияя, лил
Мерцанье бледное ночник
На их со мглой слиянный лик.
Товарищ двум другим судьям,
Игуменя из Витби там
Являлась, и была сперва
Ее открыта голова;
Но скоро скорбь втеснилась ей
Во грудь, и слезы из очей
Неволью жалость извлекла,
И покрывалом облекла
Тогда лицо свое она.
С ней рядом, как мертвец бледна,
С суровой строгостью в чертах,
Обретшая в посте, в мольбах
Бесстрастье хладное одно
(В душе святошеством давно
Прямую святость уморя).—
Тильмутского монастыря
Приорша гордая была;
И ряса, черная как мгла,
Лежала на ее плечах;
И жизни не было в очах,

XXV

And now that blind old Abbot rose,
To speak the Chapter's doom,
On those the wall was to enclose,
Alive, within the tomb;
But stopp'd, because that woful Maid,
Gathering her powers, to speak essay'd.
Twice she essay'd, and twice in vain;
Her accents might no utterance gain;
Nought but imperfect murmurs slip
From her convulsed and quivering lip;
'Twixt each attempt all was so still,
You seem'd to hear a distant rill—
'Twas ocean's swells and falls;
For though this vault of sin and fear
Was to the sounding surge so near,
A tempest there you scarce could hear,
So massive were the walls.

XXVI

At length, an effort sent apart
The blood that curdled to her heart,
And light came to her eye,
And colour dawned upon her cheek
A hectic and a flutter'd streak,
Like that left on the Cheviot peak,
By Autumn's stormy sky;
And when her silence broke at length,
Still as she spoke she gather'd strength,
And arm'd herself to bear.
It was a fearful sight to see
Such high resolve and constancy,
In form so soft and fair.

3

XXVII

"I speak not to implore your grace,
Well know I, for one minute's space
Successless might I sue:

Черневших мутно, без лучей,
Из-под седых ее бровей.
Аббат Кутбертовой святой
Обители, монах седой,
Иссохнувший полумертвец
И уж с давнишних пор слепец,
Меж ними, сгорбившись, сидел;
Потухший взор его глядел
Вперед, ничем не привлечен,
И, грозной думой омрачен,
Ужасен бледный был старик,
Как каменный надгробный лик,
Во храме зримый в час ночной,
Немого праха страж немой.
Пред ними жертва их стоит:
На голове ее лежит
Лицо скрывающий покров;
Видна на белой рясе кровь;
И на столе положены
Свидетели ее вины:
Лампада, четки и кинжал.
По знаку данному, сорвал
Монах с лица ее покров;
И кудри черных волосов
Упали тучей по плечам.
Приорши строгия очам
Был узницы противен вид;
С насмешкой злобною глядит
В лицо преступницы она,
И казнь ее уж решена.

XIV

Но кто же узница была?
Сестра Матильда. Лишь сошла
Та роковая полночь, мглой
Окутавшись как пеленой,

Nor do I speak your prayers to gain;
For if a death of lingering pain,
To cleanse my sins, be penance vain,
 Vain are your masses too.—
I listen'd to a traitor's tale,
I left the convent and the veil;
For three long years I bow'd my pride,
A horse-boy in his train to ride;
And well my folly's meed he gave,
Who forfeited, to be his slave,
All here, and all beyond the grave.—
He saw young Clara's face more fair,
He knew her of broad lands the heir,
Forgot his vows, his faith foreswore,
And Constance was beloved no more.—
 'Tis an old tale, and often told;
 But did my fate and wish agree,
 Ne'er had been read, in story old,
 Of maiden true betray'd for gold,
 That loved, or was avenged, like me!

XXVIII

“The King approved his favourite's aim;
In vain a rival barr'd his claim,
 Whose fate with Clare's was plight,
For he attains that rival's fame
With treason's charge—and on they came,
 In mortal lists to fight.
 Their oaths are said,
 Their prayers are pray'd,
 Their lances in the rest are laid,
They meet in mortal shock;
And, hark! the throng, with thundering cry,
Shout 'Marmion, Marmion! to the sky,
 De Wilton to the block!’
Say ye, who preach Heaven shall decide
When in the lists two champions ride,
 Say, was Heaven's justice here?

Тильмутская обитель вся
Вдруг замолчала; погася
Лампады в кельях, сестры в них
Все затворились; пуст и тих
Стал монастырь; лишь главный вход
Святых обители ворот
Не заперт и свободен был.
На колокольне час пробил.
Лампаду и кинжал берет
И в платье мертвеца идет
Матильда смело в ворота;
Пред нею ночь и пустота;
Обитель сном глубоким спит;
Над церковью луна стоит
И сыплет на дорогу свет;
И виден на дороге след
В густой пыли копыт и ног;
И слышен ей далекий скок...
Она с волненьем в даль глядит;
Но там ночной туман лежит;
Все тише, тише слышен скок,
Лишь по дороге ветерок
Полночный ходит да луна
Сияет с неба. Вот она
Минуты две подождала;
Потом с молитвою пошла
Вперед— не встретится ли с ним?
И долго шла путем пустым;
Но все желанной встречи нет.
Вот наконец и дневный свет,
И на небе зажглась заря...
И вдруг от стен монастыря
Послышался набатный звон;
Всю огласил окрестность он.
Что ей начать? Куда уйти?

When, loyal in his love and faith,
Wilton found overthrow or death,
 Beneath a traitor's spear?
How false the charge, how true he fell,
This guilty packet best can tell."—
Then drew a packet from her breast,
Paused, gather'd voice, and spoke the rest.

XXIX

"Still was false Marmion's bridal staid;
To Whitby's convent fled the maid,
 The hated match to shun,
'Ho! shifts she thus?' King Henry cried,
'Sir Marmion, she shall be thy bride,
 If she were sworn a nun.'
One way remain'd—the King's command
Sent Marmion to the Scottish land:
I linger'd here, and rescue plann'd
 For Clara and for me:
This caitiff Monk, for gold, did swear,
He would to Whitby's shrine repair,
And, by his drugs, my rival fair
 A saint in heaven should be.
But ill the dastard kept his oath,
Whose cowardice has undone us both.

XXX

"And now my tongue the secret tells,
Not that remorse my bosom swells.
But to assure my soul that none
Shall ever wed with Marmion.
Had fortune my last hope betray'd,
This packet, to the King convey'd,
Had given him to the headsman's stroke,
Although my heart that instant broke.—
Now, men of death, work forth your will,
For I can suffer, and be still;
And come he slow, or come he fast,
It is but Death who comes at last.

Среди открытого пути,
Окаменев, она стоит;
И страшно колокол гудит;
И вот за ней погоня вслед;
И ей нигде приюта нет;
И вот настигнута она,
И в монастырь увлечена,
И скрыта заживо под спуд;
И ждет ее кровавый суд.

XV

Перед судилищем она
Стоит, почти умерщвлена
Терзаньем близкого конца;
И бледность мертвая лица
Была видней, была страшней
От черноты ее кудрей,
Двойною пышною волной
Обливших лик ее молодой.
Оцепенев, стоит она;
Глава на грудь наклонена;
И если б мутный луч в глазах
И содрогание в грудях
Не изменяли ей порой,
За лик бездушный восковой
Могла б быть принята она:
Так бездыханна, так бледна,
С таким безжизненным лицом,
Таким безгласным мертвецом
Она ждала судьбы своей
От непрощающих судей.
И казни страх ей весь открыт:
В стене, как темный гроб, прорыт
Глубокий, низкий, тесный вход;
Тому, кто раз в тот гроб войдет,
Назад не выйти никогда:

XXXI

"Yet dread me, from my living tomb,
 Ye vassal slaves of bloody Rome!
 If Marmion's late remorse should wake,
 Full soon such vengeance will he take,
 That you shall wish the fiery Dane
 Had rather been your guest again.
 Behind, a darker hour ascends!
 The altars quake, the crosier bends,
 The ire of a despotic King
 Rides forth upon destruction's wing;
 Then shall these vaults, so strong and deep,
 Burst open to the sea-winds' sweep;
 Some traveller then shall find my bones
 Whitening amid disjointed stones,
 And, ignorant of priests' cruelty,
 Marvel such relics here should be."

XXXII

Fix'd was her look, and stern her air:
 Back from her shoulders stream'd her hair;
 The locks, that wont her brow to shade,
 Stared up erectly from her head;
 Her figure seem'd to rise more high;
 Her voice, despair's wild energy
 Had given a tone of prophecy.
 Appall'd the astonish'd conclave sate;
 With stupid eyes, the men of fate
 Gazed on the light inspired form,
 And listen'd for the avenging storm;
 The judges felt the victim's dread;
 No hand was moved, no word was said,
 Till thus the Abbot's doom was given,
 Raising his sightless balls to heaven:—
 "Sister, let thy sorrows cease;
 Sinful brother, part in peace!"
 From that dire dungeon, place of doom,
 Of execution too, and tomb,
 Paced forth the judges three;
 Sorrow it were, and shame, to tell

Коренья, в черепке вода,
Краюшка хлеба с ночником
Уже готовы в гробе том;
И с дымным факелом в руках,
На заступ опершись, монах,
Палач подземный, перед ним,
Безгласен, мрачен, недвижим,
С покровом на лице стоит;
И грудой на полу лежит
Гробокопательный снаряд:
Кирпич, кирка, известка, млат.
Слепой игумен с места встал,
И руку тощую поднял,
И узницу благословил...
И в землю факел свой вонзил
И к жертве подошел монах;
И уж она в его руках
Трепещет, борется, кричит,
И, сладив с ней, уже тащит,
Бесчувственный на крик и плач,
Ее живую в гроб палач...

XVI

Сто ступеней наверх вели;
Из тайника судьбы пошли,
И вид их был свирепо дик;
И глухо жалкий, томный крик
Из глубины их провожал;
И страх шаги их ускорял;
И глуше становился стон;
И наконец... умолкнул он.
И скоро вольный воздух им
Своим дыханием живым
Стесненны груди оживил.

The butcher-work that there befell,
When they had glided from the cell
Of sin and misery.

XXXIII

An hundred winding steps convey
That conclave to the upper day;
But, ere they breathed the fresher air,
They heard the shriekings of despair,
And many a stifled groan:
With speed their upward way they take,
(Such speed as age and fear can make,)
And cross'd themselves for terror's sake,
As hurrying, tottering on:
Even in the vesper's heavenly tone,
They seem'd to hear a dying groan,
And bade the passing knell to toll
For welfare of a parting soul.
Slow o'er the midnight wave it swung,
Northumbrian rocks in answer rung;
To Warkworth cell the echoes roll'd,
His beads the wakeful hermit told,
The Bamborough peasant raised his head,
But slept ere half a prayer he said;
So far was heard the mighty knell,
The stag sprung up on Cheviot Fell,
Spread his broad nostril to the wind,
Listed before, aside, behind,
Then couch'd him down beside the hind,
And quaked among the mountain fern,
To hear that sound so dull and stern.



Уж час ночного бденья был,
И в храме пели. И во храм
Они пошли; но им и там
Сквозь набожный поющих лик
Все слышался подземный крик.
Когда ж во храме хор отпел,
Ударить в колокол велел
Аббат душе на упокой...
Протяжный глас в тиши ночной
Раздался — из глубокой мглы
Ему Нортумбрии скалы
Откликнулись; услыша звон,
В Брамбурге селянин сквозь сон
С подушки голову поднял,
Молиться об умершем стал,
Недомолился и заснул;
Им пробужденный, помянул
Усопшего святой чернец,
Варквортской пúстыни жилец;
В Шевьотскую залегший сень,
Вскочил испуганный олень,
По ветру ноздри распустил,
И чутко ухом шевелил,
И поглядел по сторонам,
И снова лег... и снова там
Все, что смутил минутный звон,
В глубокий погрузилось сон.



Robert Southey

RUDIGER

Bright on the mountain's heathy slope
The day's last splendours shine,
And rich with many a radiant hue,
Gleam gaily on the Rhine.

And many a one from Waldhurst's walls
Along the river strolled,
As ruffling o'er the pleasant stream
The evening gales came cold.

So as they strayed, a swan they saw
Sail stately up and strong,
And by a silver chain she drew
A little boat along;

Whose streamer to the gentle breeze
Long floating fluttered light,
Beneath whose crimson canopy
There lay reclined a knight.

With arching crest and swelling breast
On sailed the stately swan,
And lightly up the parting tide
The little boat came on.

And onward to the shore they drew,
And leapt to land the knight,
And down the stream the little boat
Fell soon beyond the sight.

АДЕЛЬСТАН

День багрянил, померкая,
Скат лесистых берегов;
Реин, в зареве сияя,
Пышен тек между холмов.

Он летучей влагой пены
Замок Аллен орошал;
Терема зубчаты стены
Он в потоке отражал.

Девы красные толпою
Из растворчатых ворот
Вышли на́ берег — игрою
Встретить месяца восход.

Вдруг плывет, к ладье прикован,
Белый лебедь по реке;
Спит, как будто очарован,
Юный рыцарь в челноке.

Алым парусом играет
Легкокрылый ветерок,
И ко берегу приплывает
С спящим рыцарем челнок.

Белый лебедь встрепенулся,
Распустил криле свои;
Дивный плаватель проснулся —
И выходит из ладьи.

Was never a knight in Waldhurst's walls
Could with this stranger vie,
Was never youth at aught esteemed
When Rudiger was by.

Was never a maid in Waldhurst's walls
Might match with Margaret,
Her cheek was fair, her eyes were dark,
Her silken locks like jet.

And many a rich and noble youth
Had strove to win the fair;
But never a rich and noble youth
Could rival Rudiger.

At every tilt and tourney he
Still bore away the prize,
For knightly feats superior still,
And knightly courtesies.

His gallant feats, his looks, his love,
Soon won the willing fair;
And soon did Margaret become
The wife of Rudiger.

Like morning dreams of happiness
Fast rolled the months away;
For he was kind, and she was kind,
And who so blest as they?

Yet Rudiger would sometimes sit
Absorbed in silent thought,
And his dark downward eye would seem
With anxious meaning fraught.

But soon he raised his looks again
And smiled his cares away;
And, mid the hall of gaiety
Was none like him so gay.

И по Рейну обратно
С очарованной ладьей
Поплыл тихо лебедь статный
И сокрылся из очей.

Рыцарь в замок Аллен входит:
Все в нем прелесть — взор и стан;
В изумленье всех приводит
Красотою Адельстан.

Меж красавицами Лора
В замке Аллене была
Видом ангельским для взора,
Для души душой мила.

Графы, герцоги толпою
К ней стеклись из дальних стран —
Но умом и красотою
Всех был краше Адельстан.

Он у всех залог победы
На турнирах похищал;
Он вечерние беседы
Всех милее оживлял.

И приветны разговоры
И приятный блеск очей
Влили нежность в сердце Лоры —
Милый стал супругом ей.

Исчезает сновиденье —
Вслед за днями мчатся дни:
Их в сердечном упоенье
И не чувствуют они.

Лишь случается порою,
Что, на воды взор склонив,
Рыцарь бродит над рекою,
Одинок и молчалив.

And onward rolled the waning months,
The hour appointed came,
And Margaret her Rudiger
Hailed with a father's name.

But silently did Rudiger
The little infant see;
And darkly on the babe he gazed.—
A gloomy man was he.

And when to bless the little babe
The holy father came,
To cleanse the stains of sin away
In Christ's redeeming name,

Then did the cheek of Rudiger
Assume a death-pale hue,
And on his clammy forehead stood
The cold convulsive dew;

And faltering in his speech, he bade
The priest the rites delay,
Till he could, to right health restored,
Enjoy the festive day.

When o'er the many-tinted sky
He saw the day decline,
He called upon his Margaret
To walk beside the Rhine.—

“And we will take the little babe,
For soft the breeze that blows,
And the mild murmurs of the stream
Will lull him to repose.”

And so together forth they went,
The evening breeze was mild,
And Rudiger upon his arm
Pillowed the little child.

Но при взгляде нежной Лоры
Возвращается покой;
Оживают тусклы взоры
С оживленной душой.

Невидимкой пролетает
Быстро время — наконец,
Улыбаясь, возвещает
Другу Лора: «Ты отец!»

Но безмолвно и уныло
На младенца смотрит он.
«Ах! — он мыслит, — ангел милый,
Для чего ты в свет рожден?»

И когда обряд крещения
Патер должен был свершить,
Чтоб водою искупленья
Душу юную омыть, —

Как преступник перед казнью,
Адельстан затрепетал;
Взор наполнился боязнью;
Хлад по членам пробежал.

Запинаясь, умоляет
День обряда отложить.
«Сил недуг меня лишает
С вами радость разделить!»

Солнце спряталось за гору;
Окропился луг росой;
Он зовет с собою Лору
Встретить месяц над рекой.

«Наш младенец будет с нами:
При дыханье ветерка
Тихоструйными волнами
Усыпит его река».

And many a one from Waldhurst's walls
Along the banks did roam;
But soon the evening wind came cold,
And all betook them home.

Yet Rudiger, in silent mood
Along the banks would roam,
Nor aught could Margaret prevail
To turn his footsteps home.

"Oh turn thee, turn thee, Rudiger,
The rising mists behold,
The evening wind is damp and chill,
The little babe is cold!"

"Now hush thee, hush thee, Margaret,
The mists will do no harm,
And from the wind the little babe
Lies sheltered on my arm."

"Oh, turn thee, turn thee, Rudiger,
Why onward wilt thou roam?
The moon is up, the night is cold,
And we are far from home."

He answered not; for now he saw
A swan come sailing strong,
And by a silver chain she drew
A little boat along.

To shore they came, and to the boat
Fast leapt he with the child,
And in leapt Margaret—breathless now,
And pale with fear, and wild.

With arching crest and swelling breast
On sailed the stately swan,
And lightly down the rapid tide
The little boat went on.

И пошли рука с рукою...
День на холмах догорал;
Молча, сумрачен душою,
Рыцарь сына лобызал.

Вот уж поздно; солнце село;
Отуманился поток;
Черен берег опустелый;
Холодеет ветерок.

Рыцарь все молчит, печален;
Все идет вдоль по реке;
Лоре страшно; замок Аллен
С час как скрылся вдалеке.

«Поздно, милый; уж седеет
Мгла сырая над рекой;
С вод холодный ветер веет;
И дрожит младенец мой».

«Тише, тише! Пусть седеет
Мгла сырая над рекой;
Грудь моя младенца греет;
Сладко спит младенец мой».

«Поздно, милый; поневоле
Страх в мою теснится грудь;
Месяц бледен; сыро в поле;
Долог нам до замка путь».

Но молчит, как очарован,
Рыцарь, глядя на реку...
Лебедь там плывет, прикован
Легкой цепью к челноку.

Лебедь к берегу — и с сыном
Рыцарь сесть в челнок спешит;
Лора вслед за паладином;
Обомлела и дрожит.

The full orb'd-moon, that beamed around
Pale splendour through the night,
Cast through the crimson canopy
A dim, discoloured light.

And swiftly down the hurrying stream
In silence still they sail,
And the long streamer fluttering fast,
Flapped to the heavy gale,—

And he was mute in sullen thought,
And she was mute with fear,
Nor sound but of the parting tide
Broke on the listening ear.

The little babe began to cry,
Then Margaret raised her head,
And with a quick and hollow voice,
“Give me the child,” she said.

“Now hush thee, hush thee, Margaret,
Nor my poor heart distress—
I do but pay perforce the price
Of former happiness;

And hush thee, too, my little babe!
Thy cries so feeble cease!
Lie still, lie still;—a little while
And thou shalt be at peace.”

So as he spake to land they drew,
And swift he stept on shore,
And him behind did Margaret
Close follow evermore.

It was a place all desolate,
Nor house nor tree was there,
And there a rocky mountain rose,
Barren, and bleak, and bare.

И, осанясь, лебедь статный
Легкой цепью повлек
Вдоль по Рейну обратно
Очарованный челнок.

Небо в Рейне дрожало,
И луна из дымных туч
На ладью сквозь парус алый
Проливала темный луч.

И плывут они, безмолвны;
За кормой струя бежит;
Тихо плещут в лодку волны;
Парус вздулся и шумит.

И на берегу молчанье;
И на месяце туман;
Лора в робком ожиданье;
В смутной думе Адельстан.

Вот уж ночи половина;
Вдруг... младенец стал кричать.
«Адельстан, отдай мне сына!»—
Возопила в страхе мать.

«Тише, тише; он с тобою.
Скоро... ах! кто даст мне сил?
Я ужасною ценою
За блаженство заплатил.

Спи, невинное творенье;
Мучит душу голос твой;
Спи, дитя; еще мгновенье,
И навек тебе покой».

Лодка к берегу—рыцарь с сыном
Выйти на берег спешит;
Лора вслед за паладином,
Пуще млеет и дрожит.

And at its base a cavern yawned,
No eye its depth might view,
For in the moonbeam shining round
That darkness darker grew.

Cold horror crept through Margaret's blood,
Her heart it paused with fear,
When Rudiger approached the cave,
And cried, "Lo, I am here!"

A deep sepulchral sound the cave
Returned, "Lo, I am here!"
And black from out the cavern gloom
Two giant arms appear.

And Rudiger approached and held
The little infant nigh;
Then Margaret shrieked, and gathered then
New powers from agony.

And round the baby fast and close
Her trembling arms she folds,
And with a strong convulsive grasp
The little infant holds.

"Now help me, Jesus!" loud she cries,
And loud on God she calls;
Then from the grasp of Rudiger
The little infant falls.

And loud he shrieked, for now his frame
The huge black arms clasped round,
And dragged the wretched Rudiger
Adown the dark profound.



Страшен берег обнаженный;
Нет ни жила, ни древес;
Черен, дик, уединенный,
В стороне стоит утес.

И пещера под скалою —
В ней не зрело око дна;
И чернеет пред луною
Страшным мраком глубина.

Сердце Лоры замирает;
Смотрит робко на утес.
Звучно к бездне восклицает
Паладин: «Я дань принес!»

В бездне звуки отразились;
Отзвон грянул вдоль реки;
Вдруг... из бездны появились
Две огромные руки.

К ним приблизил рыцарь сына...
Цепенеющая мать,
Возопив, у паладина
Жертву бросилась отнять

И воскликнула: «Спаситель!..»
Глас достигнул к небесам:
Жив младенец, а губитель
Ниспровергнут в бездну сам.

Страшно, страшно застонало
В грозных сжавшихся когтях...
Вдруг все пусто, тихо стало
В глубине и на скалах.



A BALLAD,
SHEWING HOW AN OLD WOMAN
RODE DOUBLE,
AND WHO RODE BEFORE HER

From a story related by Olaus Magnus

The raven croak'd as she sat at her meal,
And the old woman knew what he said,
And she grew pale at the raven's tale,
And sicken'd and went to her bed.

Now fetch me my children, and fetch them with speed,
The old woman of Berkeley said,
The monk my son, and my daughter the nun,
Bid them hasten, or I shall be dead.

The monk her son, and her daughter the nun,
Their way to Berkeley went,
And they have brought with pious thought
The holy sacrament.

The old woman shriek'd as they entered her door.
'Twas fearful her shrieks to hear,
Now take the sacrament away
For mercy, my children dear!

Her lip it trembled with agony,
The sweat ran down her brow,
I have tortures in store for evermore,
Oh! spare me my children now!

Away they sent the sacrament,
The fit it left her weak,
She look'd at her children with ghastly eyes
And faintly struggled to speak.

All kind of sin I have rioted in,
And the judgment now must be,
But I secured my children's souls,
Oh! pray my children for me.

БАЛЛАДА,
В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ,
КАК ОДНА СТАРУШКА
ЕХАЛА НА ЧЕРНОМ КОНЕ ВДВОЕМ
И КТО СИДЕЛ ВПЕРЕДИ

На кровле ворон дико прокричал —
Старушка слышит и бледнеет.
Понятно ей, что ворон тот сказал:
Слегла в постель, дрожит, хладеет.

И вопит скорбно: «Где мой сын-чернец?
Ему сказать мне слово дайте;
Увы! я гибну; близок мой конец;
Скорей, скорей! не опоздайте!»

И к матери идет чернец святой:
Ее услышать покаянье;
И тайные дары несет с собой,
Чтоб утолить ее страданье.

Но лишь пришел к одру с дарами он,
Старушка в трепете завывала;
Как смерти крик ее протяжный стон...
«Не приближайся! — возопила. —

Не подноси ко мне святых даров;
Уже не в пользу покаянье...»
Был страшен вид ее седых волос
И страшно груди колыханье.

Дары святые сын отнес назад
И к страждущей приходит снова;
Кругом бродил ее потухший взгляд;
Язык искал, немея, слова.

«Вся жизнь моя в грехах погребена,
Меня отвергнул искупитель;
Твоя ж душа молитвой спасена,
Ты будь души моей спаситель.

I have suck'd the breath of sleeping babes,
The fiends have been my slaves,
I have noited myself with infant's fat,
And feasted on rifled graves.

And the Devil will fetch me now in fire
My witchcrafts to atone,
And I who have rifled the dead man's grave
Shall never have rest in my own.

Bless I intreat my winding sheet,
My children I beg of you!
And with holy water sprinkle my shroud,
And sprinkle my coffin too.

And let me be chain'd in my coffin of stone,
And fasten it strong I implore
With iron bars, and with three chains
Chain it to the church floor.

And bless the chains and sprinkle them,
And let fifty priests stand round,
Who night and day the mass may say
Where I lie on the ground.

And see that fifty choristers
Beside the bier attend me,
And day and night by the taper's light
With holy hymns defend me.

Let the church bells all both great and small
Be toll'd by night and day,
To drive from thence the fiends who come
To bear my body away.

And ever have the church door barr'd
After the even song,
And I beseech you, children dear,
Let the bars and bolts be strong.

Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.

И казнь лукавый обольститель мой
Уж мне готовит в адской злобе;
И я, смутив чужих гробов покой,
В своем не успокоюсь гробе.

Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.

Чтоб из свинца мой крепкий гроб был слит,
Семью окован обручами,
Во храм внесен, пред алтарем прибит
К помосту крепкими цепями.

И цепи окропи святой водой;
Чтобы священники собором
И день и ночь стояли надо мной
И пели панихиду хором;

Чтоб пятьдесят на крылосах дьячков
За ними в черных рясах пели;
Чтоб день и ночь свечей у образов
Из воску ярого горели;

Чтобы звучней во все колокола
С молитвой день и ночь звонили;
Чтоб заперта во храме дверь была;
Чтоб дьяконы пред ней кадили;

Чтоб крепок был запор церковных врат;
Чтобы с полуночного бденья
Он ни на миг с растворов не был снят
До солнечного восхожденья.

And let this be three days and nights
My wretched corpse to save,
Keep me so long from the fiendish throng
And then I may rest in my grave.

The old woman of Berkeley laid her down,
And her eyes grew deadly dim,
Short came her breath and the struggle of death
Did loosen every limb.

They blessed the old woman's winding sheet
With rites and prayers due,
With holy water they sprinkled her shroud
And they sprinkled her coffin too.

And they chain'd her in her coffin of stone,
And with iron barr'd it down,
And in the church with three strong chains
They chain'd it to the ground.

And they blest the chains and sprinkled them,
And fifty priests stood round,
By night and day the mass to say
Where she lay on the ground.

And fifty sacred choristers
Beside the bier attend her,
Who day and night by the taper's light
Should with holy hymns defend her.

To see the priests and choristers
It was a goodly sight
Each holding, as it were a staff,
A taper burning bright.

And the church bells all, both great and small,
Did toll so loud and long,
And they have barr'd the church door hard,
After the even song.

С обрядом тем молитесь три дня,
Три ночи сряду надо мною:
Чтоб не достиг губитель до меня,
Чтоб прах мой принят был землею».

И глас ее быть слышен перестал;
Померкши очи закатились;
Последний вздох в груди затрепетал;
Уста, охолодев, раскрылись.

И хладный труп, и саван гробовой,
И гроб под черной пеленою
Священники с приличною мольбой
Опрыскали святой водою.

Семь обручей на гроб положены;
Три цепи тяжкими винтами
Вонзились в гроб и с ним утверждены
В помост пред царскими дверями.

И вспрыснуты они святой водой;
И все священники в собрание,
Чтоб день и ночь душе на упокой
Свершать во храме поминание.

Поют дьячки все в черных стихарях
Медлительными голосами;
Горят свечі надгробны в их руках,
Горят свечі пред образами.

Протяжный глас, и бледный лик певцов,
Печальный, страшный сумрак храма,
И тихий гроб, и длинный ряд попов
В тумане зыбком фимиама,

И горестный чернец пред алтарем,
Творящий до земли поклоны,
И в высоте дрожащим свеч огнем
Чуть озаренные иконы...

And the first night the tapers' light
Burnt steadily and clear,
But they without a hideous rout
Of angry fiends could hear;

A hideous roar at the church door,
Like a long thunder peal,
And the priests they pray'd and the choristers sung
Louder in fearful zeal.

Loud toll'd the bell, the priests pray'd well,
The tapers they burnt bright,
The monk her son, and her daughter the nun,
They told their beads all night.

The cock he crew, away they flew,
The fiends from the herald of day,
And undisturb'd the choristers sing,
And the fifty priests they pray.

The second night the tapers' light
Burnt dimly and blue,
And every one saw his neighbour's face
Like a dead man's face to view.

And yells and cries without arise
That the stoutest heart might shock,
And a deafening roar like a cataract pouring
Over a mountain rock.

The monk and nun they told their beads,
As fast as they could tell,
And aye as louder grew the noise
The faster went the bell.

Louder and louder the choristers sung
As they trembled more and more,
And the fifty priests pray'd to Heaven for aid,—
They never had pray'd so before.

Ужасный вид! колокола звонят;
Уж час полуночного бденья.
И заперлись затворы тяжких врат
Перед начатием моленья.

И в первую ночь от свеч веселый блеск.
И вдруг... к полночи за вратами
Ужасный вой, ужасный шум и треск;
И слышалось: гремят цепями.

Железных врат запор, стуча, дрожит;
Звонят на колокольне звонче;
Молитву клир усерднее творит,
И пение поющих громче.

Гудят колокола, дьячки поют,
Попы молитвы вслух читают,
Чернец в слезах, в кадилах ладан жгут,
И свечи яркие пылают.

Запел петух... и, смолкнувши, бегут
Враги, не совершив ловитвы;
Смелей дьячки на крылосах поют,
Смелей попы творят молитвы.

В другую ночь от свеч темнее свет,
И слабо теплятся кадилы,
И гробовой у всех на лицах цвет,
Как будто встали из могилы.

И снова рев, и шум, и треск у врат;
Грызут замок, в затворы рвутся;
Как будто вихрь, как будто шумный град,
Как будто воды с гор несутся.

Пред алтарем чернец на землю пал,
Священники творят поклоны,
И дым от свеч туманных побежал,
И потемнели все иконы.

The cock he crew, away they flew
The fiends from the herald of day,
And undisturb'd the choristers sing,
And the fifty priests they pray.

The third night came, and the tapers' flame
A hideous stench did make,
And they burnt as though they had been dip
In the burning brimstone lake.

And the loud commotion, like the rushing of ocean,
Grew momentarily more and more,
And strokes as of a battering ram
Did shake the strong church door.

The bellmen they for very fear
Could toll the bell no longer,
And still as louder grew the strokes
Their fear it grew the stronger.

The monk and nun forgot their beads,
They fell on the ground dismay'd,
There was not a single saint in heaven
Whom they did not call to aid.

And the choristers' song, that late was so strong,
Grew a quaver of consternation,
For the church did rock, as an earthquake shock
Uplifted its foundation.

And a sound was heard like the trumpet's blast
That shall one day wake the dead,
The strong church door could bear no more,
And the bolts and the bars they fled.

And the tapers' light was extinguish'd quite,
And the choristers faintly sung,
And the priests dismay'd, panted and pray'd
Till fear froze every tongue.

Сильнее стук — звучней колокола,
И трепетней поющих голос:
В крови их хлад, объемлет очи мгла,
Дрожат колена, дыбом волос.

Запел петух... и прочь враги бегут,
Опять не совершив ловитвы;
Смелей дьячки на крылосах поют,
Попы смелей творят молитвы.

На третью ночь свечей едва горят;
И дым густой, и запах серный;
Как ряд теней, попы во мгле стоят;
Чуть виден гроб во мраке черный.

И стук у врат: как будто океан
Под бурей ревет и воет,
Как будто степь песчаную оркан
Свистящими крылами роет.

И звонари от страха чуть звонят,
И руки им служить не вольны;
Час от часу страшнее гром у врат,
И звон слабее колокольный.

Дрожа, упал чернец пред алтарем;
Молиться силы нет; во прахе
Лежит, к земле прикинувши лицом;
Поднять глаза не смеет в страхе.

И певчих хор, досель согласный, стал
Нестройным криком от смятенья:
Им чудилось, что церковь зашатал
Как бы удар землетрясенья.

Вдруг затускнел огонь во всех свечах,
Погасли все и закурились;
И замер глас у певчих на устах,
Все трепетали, все крестились.

And in he came with eyes of flame
The devil to fetch the dead,
And all the church with his presence glow'd
Like a fiery furnace red.

He laid his hand on the iron chains,
And like flax they moulder'd asunder,
And the coffin lid that was barr'd so firm
He burst with his voice of thunder.

And he bade the Old Woman of Berkeley rise
And come with her master away,
And the cold sweat stood on the cold cold corpse,
At the voice she was forced to obey.

She rose on her feet in her winding sheet,
Her dead flesh quiver'd with fear,
And a groan like that which the old woman gave
Never did mortal hear.

She follow'd the fiend to the church door,
There stood a black horse there,
His breath was red like furnace smoke,
His eyes like a meteor's glare.

The fiend he flung her on the horse,
And he leapt up before,
And away like the lightning's speed they went,
And she was seen no more.

They saw her no more, but her cries and shrieks
For four miles round they could hear,
And children at rest at their mother's breast,
Started and screamed with fear.



И раздалось... как будто оный глас,
Который грянет над гробами;
И храма дверь со стуком затряслась
И на пол рухнула с петлями.

И *он* предстал весь в пламени очам,
Свирепый, мрачный, разъяренный;
И вокруг него огромный Божий храм
Казался печью раскаленной!

Едва сказал: «Исчезните!» цепям —
Они рассыпались золою;
Едва рукой коснулся обручам —
Они истлели под рукою.

И вскрылся гроб. *Он* к телу вопиёт:
«Восстань, иди вослед владыке!»
И проступил от слов сих хладный пот
На мертвом, неподвижном лице.

И тихо труп со стоном тяжким встал,
Покорен страшному призыванью;
И никогда здесь смертный не слышал
Подобного тому стенанью.

И ко вратам пошла она с врагом...
Там зрелся конь чернее ночи.
Храпит и ржет и пышет он огнем,
И как пожар пылают очи.

И на коня с добычей прынул враг;
И труп завыл; и быстротечно
Конь полетел, взвивая дым и прах;
И слух об ней пропал навечно.

Никто не зрел, как с нею мчался *он*...
Лишь страшный след нашли на прахе;
Лишь, внемя крик, всю ночь сквозь тяжкий сон
Младенцы вздрагивали в страхе.



LORD WILLIAM

No eye beheld when William plunged
Young Edmund in the stream,
No human ear but William's heard
Young Edmund's drowning scream.

Submissive all the vassals own'd
The murderer for their lord,
And he, the rightful heir, possessed
The house of Erlingford.

The ancient house of Erlingford
Stood in a fair domain,
And Severn's ample waters near
Roll'd through the fertile plain.

And often the way-faring man
Would love to linger there.
Forgetful of his onward road
To gaze on scenes so fair.

But never could Lord William dare
To gaze on Severn's stream;
In every wind that swept its waves
He heard young Edmund scream.

In vain at midnight's silent hour
Sleep closed the murderer's eyes;
In every dream the murderer saw
Young Edmund's form arise.

In vain by restless conscience driven
Lord William left his home,
Far from the scenes that saw his guilt,
In pilgrimage to roam.

To other climes the pilgrim fled,
But could not fly despair;
He sought his home again, but peace
Was still a stranger there.

ВАРВИК

Никто не зрел, как ночью бросил в волны
Эдвина злой Варвик;
И слышали одни берега безмолвны
Младенца жалкий крик.

От подданных погибшего губитель
Владыкой признан был —
И в Ирлингфор уже как повелитель
Торжественно вступил.

Стоял среди цветущия равнины
Старинный Ирлингфор,
И пышные с высот его картины
Повсюду видел взор.

Авон, шумя под древними стенами,
Их пеной орошал,
И низкий брег с лесистыми холмами
В струях его дрожал.

Там пламенел берегов на тихом склоне
Закат сквозь редкий лес;
И трепетал во дремлющем Авоне
С звездами свод небес.

Вдали, вблизи рассыпанные села
Дымились по утрам;
От резвых стад равнина вся шумела,
И вторил лес рогам.

Спешил, с пути прохожий совратясь,
На Ирлингфор взглянуть,
И, красотой картин его пленясь,
Он забывал свой путь.

Один Варвик был чужд красам природы:
Вотще в его глазах
Цветут леса, вися блещут воды,
И радость на лугах.

Each hour was tedious long, yet swift
The months appear'd to roll;
And now the day returned that shook
With terror William's soul.

A day that William never felt
Return without dismay,
For well had conscience kalendered
Young Edmund's dying day.

A fearful day was that! The rains
Fell fast with tempest roar,
And the swoln tide of Severn spread
Far on the level shore.

In vain Lord William sought the feast,
In vain he quaff'd the bowl,
And strove with noisy mirth to drown
The anguish of his soul.

The tempest as its sudden swell
In gusty howlings came,
With cold and death-like feelings seem'd
To thrill his shuddering frame.

Reluctant now, as night came on,
His lonely couch he prest,
And wearied out, he sunk to sleep,
To sleep, but not to rest.

Beside that couch his brother's form
Lord Edmund seem'd to stand,
Such and so pale as when in death
He grasp'd his brother's hand;

Such and so pale his face as when
With faint and faltering tongue,
To William's care, a dying charge
He left his orphan son.

И устремить, трепещущий, не смеет
Он взора на Авон:
Оттоль зефир во слух убийцы веет
Эдвинов жалкий стон.

И в тишине безмолвной полуночи
Все тот же слышен крик,
И чюдятся блистающие очи
И бледный, страшный лик.

Вотще Варвик с родных берегов уходит —
Приюта в мире нет:
Страшилищем ужасным совесть бродит
Везде за ним вослед.

И он пришел опять в свою обитель:
А сладостный покой,
И бедности веселый посетитель,
В дому его чужой.

Часы стоят, окованы тоскою;
А месяцы бегут...
Бегут — и день убийства за собою
Невидимо несут.

Он наступил; со страхом провожает
Варвик ночную тень:
Дрожи! (ему глас совести вещает)
Эдвинов смертный день!

Ужасный день: от молний небо блещет;
Отвсюду вихрей стон;
Дождь ливмя льет; волнами с воем плещет
Разлившийся Авон.

Вотще Варвик, среди веселий шума,
Цедит в бокал вино:
С ним за столом садится рядом Дума, —
Питье отравлено.

“I bade thee with a father’s love
My orphan Edmund guard—
Well, William, hast thou kept thy charge!
Now take thy due reward.”

He started up, each limb convuls’d
With agonizing fear,
He only heard the storm of night,—
’Twas music to his ear.

When, lo! the voice of loud alarm
His inmost soul appals:
“What ho! Lord William, rise in haste!
The water saps thy walls!”

He rose in haste; beneath the walls
He saw the flood appear.
It hemm’d him round. ’Twas midnight now,
No human aid was near.

He heard the shout of joy; for now
A boat approached the wall,
And eager to the welcome aid
They crowd for safety all.

“My boat is small,” the boatman cried,
“’Twill bear but one away:
Come in, Lord William, and do ye
In God’s protection stay.”

Strange feeling fill’d them at his voice
Even in that hour of woe,
That, save their Lord, there was not one
Who wish’d with him to go.

But William leapt into the boat
His terror was so sore;
Thou shalt have half my gold, he cried,
Haste, haste to yonder shore.

Тоскующий и грозный призрак бродит
В толпе его гостей;
Везде пред ним: с лица его не сводит
Пронзительных очей.

И день угас, Варвик спешит на ложе...
Но и в тиши ночной,
И на одре уединенном то же;
Там сон, а не покой.

И мнит он зреть пришельца из могилы,
Тень брата пред собой;
В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый
И голос гробовой.

Таков он был, когда встречал кончину;
И тот же слышен глас,
Каким молил он быть отцом Эдвину
Варвика в смертный час:

«Варвик, Варвик, свершил ли данно слово?
Исполнен ли обет?
Варвик, Варвик, возмездие готово;
Готов ли твой ответ?»

Воспрянул он — глас смолкнул — разъяренно
Один во мгле ночной
Ревел Авон, — но для души смятенной
Был сладок бури вой.

Но вдруг — и въявь средь шума и волненья
Раздался смутный крик:
«Спеши, Варвик, спасись от потопленья,
Беги, беги, Варвик!»

И к берегу он мчится — под стеною
Уже Авон кипит;
Глухая ночь; одето небо мглою;
И месяц в тучах скрыт.

The boatman plied the oar, the boat
Went light along the stream,
Sudden Lord William heard a cry
Like Edmund's drowning scream.

The boatman paus'd, methought I heard
A child's distressful cry!
'Twas but, the howling wind of night,
Lord William made reply.

Haste, haste! ply swift and strong the oar!
Haste, haste across the stream!
Again Lord William heard a cry
Like Edmund's drowning scream.

I heard a child's distressful scream,
The boatman cried again.
Nay hasten on—the night is dark—
And we should search in vain.

Oh God! Lord William dost thou know
How dreadful 'tis to die?
And canst thou without pity hear
A child's expiring cry?

How horrible it is to sink
Beneath the chilly stream,
To stretch the powerless arms in vain,
In vain for help to scream?

The shriek again was heard: it came
More deep, more piercing loud;

И молит он с поднятыми руками
«Спаси, спаси, творец!»
И вдруг – мелькнул челнок между волнами,
И в челноке пловец.

Варвик зовет, Варвик манит рукою –
Не внемля шума волн,
Пловец сидит спокойно над кормою
И правит к берегу челн

И с трепетом Варвик в челнок садится –
Стрелой помчался он...
Молчит пловец, молчит Варвик... вот, мнится,
Им слышен тяжкий стон.

На спутника оставил кормщик очи:
«Не слышался ли крик?» –
«Нет; просвистал в твой парус ветер ночи, –
Смутясь, сказал Варвик. –

Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится,
Гроза со всех сторон».
Умолкнули... плывут... вот снова, мнится,
Им слышен тяжкий стон.

«Младенца крик! Он борется с волною,
На помощь он зовет!» –
«Правь, кормщик, правь, река покрыта мглою,
Кто там его найдет?»

«Варвик, Варвик, час смертный зреть ужасно;
Ужасно умирать;
Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно
Тебя на помощь звать?»

Во мгле ночной он бьется меж водами;
Облит он хладом волн;

That instant o'er the flood the moon
Shone through a broken cloud:

And near them they beheld a child,
Upon a crag he stood,
A little crag, and all around
Was spread the rising flood.

The boatman plied the oar, the boat
Approach'd his resting place,
The moon-beam shone upon the child
And show'd how pale his face.

Now reach thine hand! the boatman cried,
Lord William reach and save!
The child stretch'd forth his little hands
To grasp the hand he gave.

Then William shriek'd; the hand he touch'd
Was cold and damp and dead!
He felt young Edmund in his arms
A heavier weight than lead.

The boat sunk down, the murderer sunk
Beneath the avenging stream;
He rose, he scream'd, no human ear
Heard William's drowning scream.



Еще его не видим мы очами;
Но он... наш видит челн!»

И снова крик слабеющий, дрожащий,
И близко челнока...
Вдруг в высоте рог месяца блестящий
Прорезал облака;

И с яркими слилася лучами,
Как дым прозрачный, мгла,
Зрят на скале дитя между волнами;
И тонет уж скала.

Пловец гребет; челнок летит стрелою;
В смятении Варвик;
И озарен младенца лик луною;
И страшно бледен лик.

Варвик дрожит – и руку, страха полный,
К младенцу протянул –
И со скалы спрыгнув младенец в волны,
К его руке прильнул.

И вмиг... дитя, челнок, пловец незримы;
В руках его мертвец:
Эдвинов труп, холодный, недвижимый,
Тяжелый, как свинец.

Утихло все – и небеса и волны:
Исчез в водах Варвик;
Лишь слышали одни берега безмолвны
Убийцы страшный крик.



FROM "RODERICK, THE LAST OF THE GOTHS"

I

RODERICK AND ROMANO

Long had the crimes of Spain cried out to Heaven;
At length the measure of offence was full.
Count Julian called the invaders: not because
Inhuman priests with unoffending blood
Had stained their country; not because a yoke
Of iron servitude oppressed and galled
The children of the soil, a private wrong
Roused the remorseless Baron. Mad to wreak
His vengeance for his violated child
On Roderick's head, in evil hour for Spain,
For that unhappy daughter and himself,
Desperate apostate,—on the Moors he called;
And like a cloud of locusts, whom the South
Wafts from the plains of wasted Africa,
The Mussulmen upon Iberia's shore
Descend. A countless multitude they came;
Syrian, Moor, Saracen, Greek renegade,
Persian and Copt and Tatar, in one bond
Of erring faith conjoin'd,—strong in the youth
And heat of zeal,—a dreadful brotherhood,
In whom all turbulent vices were let loose;
While Conscience, with their impious creed accurst,
Drunk, as, with wine, had sanctified to them
All bloody, all abominable things.

Thou, Calpe, sawest their coming: ancient Rock
Ronowned, no longer now shalt thou be called
From Gods and Heroes of the years of yore,
Kronos, or hundred-handed Briareus,
Bacchus or Hercules; but doomed to bear
The name of thy new conqueror, and thenceforth
To stand his everlasting monument.
Thou sawest the dark-blue waters flash before
Their ominous way, and whiten round their keels;

РОДРИГ

Уже давно готовилося небо
Испанию преступную сразить –
Исполнилась его терпенья мера!
Граф Юлиан призвал врагов. Не зверство
Терзающих невинность суеверов,
Не тяжкая неволя сограждан,
Но злоба личная вооружила
Жестокого барона: мстя Родригу
За дочь свою, поруганную им,
Отверженец Христа ожесточенный,
В недобрый час призвал он хищных мавров.
Как саранча, пагубоносной тучей
Слетевшая с пылающих пустынь
Песчаной Африки – так мусульмане
Бесчисленны в Иберию помчались:
Могучий мавр, сириец, сарацын,
Татарин, перс, и копт, и грек отступник –
Исполнены единым иступленьем,
В губящее совокупились братство!
И волю дав страстям и мщенью,
Лжеверием обманутая совесть
Все ужасы злодейства освятила...

О Кальпе! Ты приплытие их зрела.
Вотще тебя, священная скала,
Прославили и боги и герои,
Могучий Крон и Бриарей Сторукий,
И Бахус и Ахилл, носи ж теперь
Постыдное вождя неверных имя
И их побед стой памятником вечным.
Ты видела волненье мрачных вод
И пену волн, кипящих под рулями
Их кораблей; [тот час?] твои пески

Their swarthy myriads darkening o'er thy sands.
There on the beach the misbelievers spread
Their banners, flaunting to the sun and breeze:
Fair shone the sun upon their proud array,
White turbans, glittering armour, shields engrailed
With gold, and scymitars of Syrian steel;
And gently did the breezes, as in sport,
Curl their long flags outrolling, and display
The blazoned scrolls of blasphemy.



DONICA

High on a rock whose castled shade
Darkened the lake below,
In ancient strength majestic stood
The towers of Arlinkow.

The fisher in the lake below
Durst never cast his net,
Nor ever swallow in its waves
Her passing wings would wet.

The cattle from its ominous banks
In wild alarm would run,
Though parched with thirst, and faint beneath
The summer's scorching sun.

For sometimes when no passing breeze
The long lank sedges waved,
All white with foam, and heaving high
Its deafening billows raved;

All when the tempest from its base
The rooted pine would shake,
The powerless storm unruffled swept
Across the calm dead lake.

Услышали их буйные бахвальства.
На бреге том стоял их прежний стан,
И грозные их стяги развернулись.
Там дневные лучи сверк[нут] по их тюрбанам,
По их щитам с насечкою златою,
По броням их и саблям [их?] сирийским.
И флаги горделиво развевались.
Их на беду враждебным иберийцам
Приветливо лобзал весенний ветер.



ДОНИКА

Есть озеро перед скалой огромной;
На той скале давно стоял
Высокий замок и громадой темной
Прибрежны воды омрачал.

На озере ладья не попадалась,
Рыбак страшился удить в нем;
И ласточка, летя над ним, боялась
К нему дотронуться крылом.

Хотя б стада от жажды умирали,
Хотя б палил их летний зной:
От берегов его они бежали
Смятенно-робкою толпой.

Случалось, что ветер и осокой
У озера не шевелил.
А волны в нем вздымались высоко,
И в них ужасный шепот был.

Случалось, что, бурю разима,
Дрожала твердая скала:
А мертвых вод поверхность недвижима
Была спокойнее стекла.

And ever then when death drew near
The house of Arlinkow,
Its dark unfathomed depths did send
Strange music from below.

The Lord of Arlinkow was old
One only child had he,
Donica was the maiden's name,
As fair as fair might be.

A bloom as bright as opening morn
Flushed o'er her clear white cheek;
The music of her voice was mild,
Her full dark eyes were meek.

Far was her beauty known, for none
So fair could Finland boast:
Her parents loved the maiden much
Young Eberhard loved her most.

Together did they hope to tread
The pleasant path of life,
For now the day drew near to make
Donica Eberhard's wife.

The eve was fair and mild the air;
Along the lake they stray;
The eastern hill reflected bright
The fading tints of day.

And brightly o'er the water streamed
The liquid radiance wide;
Donica's little dog ran on
And gamboled at her side.

Youth, Health, and Love bloomed on her cheek,
Her full dark eyes express

И каждый раз – в то время, как могилой
Кто в замке угрожаем был, –
Пророчески, гармонией унылой
Из бездны голос исходил.

И в замке том, могуществом великий,
Жил Ромуальд; имел он дочь;
Пленялось все красой его Доники:
Лицо – как день, глаза – как ночь.

И рыцарей толпа пред ней теснилась.
Все душу приносили в дар;
Одним из них красавица пленилась:
Счастливец этот был Эврар.

И рад отец; и скоро уж наступит
Желанный, сладкий час, когда
Во храме их священник совокупит
Святым союзом навсегда.

Был вечер тих, и небеса атели;
С невестой шел рука с рукой
Жених; они на озеро глядели
И услаждались тишиной.

Ни трепета в листьях дерев, ни знака
Малейшей зыби на водах...
Лишь лаяньем Доникина собака
Пугала пташек на кустах.

Любовь в груди невесты пламенела
И в темных таяла очах;
На жениха с тоской она глядела:
Ей в душу вкрадывался страх.

Все было вокруг какой-то полно тайной;
Безмолвно гас лазурный свод;

In many a glance to Eberhard
Her soul's meek tenderness.

Nor sound was heard, nor passing gale
Sighed through the long lank sedge;
The air was hushed; no little wave
Dimpled the water's edge.

Sudden the unfathomed lake sent forth
Strange music from beneath,
And slowly o'er the waters sailed
The solemn sounds of death.

As the deep sounds of death arose,
Donica's cheek grew pale,
And in the arms of Eberhard
The senseless maiden fell.

Loudly the youth in terror shrieked,
And loud he called for aid,
And with a wild and eager look
Gazed on the death-pale maid.

But soon again did better thoughts
In Eberhard arise,
And he with trembling hope beheld
The maiden raise her eyes.

And on his arm reclined she moved
With feeble pace and slow,
And soon with strength recovered reached
The towers of Arlinkow.

Yet never to Donica's cheek
Returned the lively hue;
Her cheeks were deathly white, and wan,
Her lips a livid blue.

Her eyes so bright and black of yore,
Were now more black and bright,
And beamed strange lustre in her face
So deadly wan and white.

Какой-то сон лежал необычайный
Над тихую равниной вод.

Вдруг бездна их унылый и глубокий
И тихий голос издала:
Гармония в дали небес высокой
Отозвалась и умерла...

При звуке сем Доника побледнела
И стала сумрачно-тиха;
И вдруг... она трепещет, охладела
И пала в руки жениха.

Оцепенев, в безумстве исступленья,
Отчаянный он поднял крик...
В Донике нет ни чувства, ни движенья:
Сомкнуты очи, мертвый лик.

Он рвется... плачет... вдруг пошевелились
Ее уста... потрясена
Дыханьем легким грудь... глаза открылись...
И встала медленно она.

И мутными глядит кругом очами,
И к другу на руку легла,
И, слабая, неверными шагами
Обратно в замок с ним пошла.

И были с той поры ее ланиты
Не свежей розы красотой,
Но бледностью могильною покрыты;
Уста пугали синевой.

В ее глазах, столь сладостно сиявших,
Какой-то острый луч сверкал,
И с бледностью ланит, глубоко впавших,
Он что-то страшное сливал.

The dog that gamboled by her side,
And loved with her to stray,
Now at his altered mistress howled,
And fled in fear away.

Yet did the faithful Eberhard
Not love the maid the less;
He gazed with sorrow, but he gazed
With deeper tenderness.

And when he found her health unharmed
He would not brook delay,
But pressed the not unwilling maid
To fix the bridal day.

And when at length it came, with joy
They hailed the bridal day,
And onward to the house of God
They went their willing way.

And as they at the altar stood
And heard the sacred rite,
The hallowed tapers dimly streamed
A pale sulphureous light.

And as the youth with holy warmth
Her hand in his did hold,
Sudden he felt Donica's hand
Grow deadly damp and cold.

And loudly did he shriek, for lo!
A spirit met his view,
And Eberhard in the angel form
His own Donica knew.

That instant from her earthly frame
Howling the demon fled,
And at the side of Eberhard
The living form fell dead.



Ласкаться к ней собака уж не смела;
Ее прикликать не могли;
На госпожу дичась она глядела
И выла жалобно вдали.

Но нежная любовь не изменила:
С глубокой нежностью Эввар
Скорбел об ней, и тайной скорби сила
Любви усиливала жар.

И милая, деля его страданья,
К его склонилась мольбам:
Назначен день для бракосочетанья;
Жених повел невесту в храм.

Но лишь туда вошли они, чтоб верный
Пред алтарем обет изречь:
Иконы все померкли вдруг, и серный
Дым побежал от брачных свеч.

И вот жених горячею рукою
Невесту за руку берет...
Но ужас овладел его душою:
Рука та холодна, как лед.

И вдруг он вскрикнул... окружен лучами,
Пред ним бесплотный дух стоял
С ее лицом, улыбкою, очами...
И в нем Донику он узнал.

Сама ж она с ним не стояла рядом:
Он бледный труп один узрел...
А мрачный бес, в нее вселенный адом,
Ужасно взвыл и улетел.



GOD'S JUDGMENT ON A BISHOP

*Here followeth the History of HATTO,
Archbishop of Mentz*

The summer and autumn had been so wet,
That in winter the corn was growing yet,
'Twas a piteous sight to see all around
The corn lie rotting on the ground.

Every day the starving poor
They crowded around bishop Hatto's door,
For he had a plentiful last-year's store,
And all the neighbourhood could tell
His granaries were furnished well.

At last bishop Hatto appointed a day
To quiet the poor without delay,
He bade them to his great barn repair,
And they should have food for the winter there.

Rejoiced the tidings good to hear,
The poor folks flocked from far and near,
The great barn was full as it could hold
Of women and children, and young and old.

Then when he saw it could hold no more,
Bishop Hatto he made fast the door,
And whilst for mercy on Christ they call,
He set fire to the barn and burnt them all.

I' faith 'tis an excellent bonfire! quoth he,
And the country is greatly obliged to me,
For ridding it, in these times forlorn,
Of rats that only consume the corn.

СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод; народ умирал.

Но у епископа милостью неба
Полны амбары огромные хлеба;
Жито сберег прошлогоднее он:
Был осторожен епископ Гаттон.

Рвутся толпой и голодный и нищий
В двери епископа, требуя пищи;
Скуп и жесток был епископ Гаттон:
Общей бедою не тронулся он.

Слушать их вопли ему надоело,
Вот он решился на страшное дело:
Бедных из ближних и дальних сторон,
Слышно, скликает епископ Гаттон.

«Дожили мы до нежданного чуда:
Вынул епископ добро из-под спуда;
Бедных к себе на пирушку зовет» –
Так говорил изумленный народ.

К сроку собрались званые гости,
Бледные, чахлые, кожа да кости;
Старый, огромный сарай отворен.
В нем угостит их епископ Гаттон.

Вот уж столпились под кровлей сарая
Все пришлецы из окружного края...
Как же их принял епископ Гаттон?
Был им сарай и с гостями сожжен.

So then to his palace returned he,
And he sate down to supper merrily,
And he slept that night like an innocent man,
But bishop Hatto never slept again.

In the morning as he entered the hall,
Where his picture hung against the wall,
A sweat like death all over him came,
For the rats had eaten it out of the frame.

As he look'd, there came a man from his farm,
He had a countenance white with alarm,
My lord, I opened your granaries this morn,
And the rats had eaten all your corn.

Another came running presently,
And he was as pale as pale could be,
Fly! my lord bishop, fly! quoth he,
Ten thousand rats are coming this way—
The Lord forgive you for yesterday!

I'll go to my tower in the Rhine, replied he,
'Tis the safest place in Germany,
The walls are high, and the shores are steep,
And the tide is strong, and the water deep.

Bishop Hatto fearfully hastened away,
And he crost the Rhine without delay,
And reach'd his tower in the island, and barr'd
All the gates secure and hard.

He laid him down and closed his eyes—
But soon a scream made him arise,
He started, and saw two eyes of flame
On his pillow, from whence the screaming came.

Глядя епископ на пепел пожарный
Думает: «Будут мне все благодарны;
Разом избавил я шуткой моей
Край наш голодный от жадных мышей».

В замок епископ к себе возвратился,
Ужинать сел, пировал, веселился,
Спал, как невинный, и снов не видал...
Правда! но боле с тех пор он не спал.

Утром он входит в покой, где висели
Предков портреты, и видит, что съели
Мыши его живописный портрет,
Так, что холстины и признака нет.

Он обомлел; он от страха чуть дышит...
Вдруг он чудесную ведомость слышит:
«Наша округа мышами полна,
В житницах съеден весь хлеб до зерна».

Вот и другое в ушах загремело:
«Бог на тебя за вчерашнее дело!
Крепкий твой замок, епископ Гаттон,
Мыши со всех осаждают сторон».

Ход был до Рейна от замка подземный;
В страхе епископ дорогою темной
К берегу выйти из замка спешит:
«В Рейнской башне спасусь» (говорит).

Башня из реинских вод подымалась;
Издали острым утесом казалась,
Грозно из пены торчащим, она;
Стены кругом ограждала волна.

В легкую лодку епископ садится;
К башне причалил, дверь запер и мчится
Вверх по гранитным крутым ступеням;
В страхе один затворился он там.

He listen'd and look'd;—it was only the cat;
But the bishop he grew more fearful for that,
For she sate screaming, mad with fear
At the army of rats that were drawing near.

For they have swum over the river so deep,
And they have climb'd the shores so steep,
And now by thousands up they crawl
To the holes and the windows in the wall.

Down on his knees the bishop fell,
And faster and faster his beads did he tell,
As louder and louder drawing near,
The saw of their teeth without he could hear.

And in at the windows, and in at the door,
And through the walls, by thousands they pour,
And down from the ceiling, and up through the floor,
From the right and the left, from behind and before,
From within and without, from above and below,
And all at once to the bishop they go.

They have whetted their teeth against the stones,
And now they pick the bishop's bones,
They gnawed the flesh from every limb,
For they were sent to do judgment on him!



Стены из стали казались слиты,
Были решетками окна забиты,
Ставни чугунные, каменный свод,
Дверью железною запертый вход.

Узник не знает, куда приютиться;
На пол, зажмурив глаза, он ложится...
Вдруг он испуган стенаньем глухим:
Вспыхнули ярко два глаза над ним.

Смотрит он... кошка сидит и мяучит;
Голос тот грешника давит и мучит;
Мечется кошка, невесело ей:
Чует она приближенье мышей.

Пал на колени епископ и криком
Бога зовет в иступлении диком.
Воеет преступник... а мыши плывут...
Ближе и ближе... доплыли... ползут.

Вот уж ему в расстоянии близком
Слышно, как лезут с роптаньем и писком;
Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут.

Вдруг ворвались неизбежные звери;
Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери,
Спереди, сзади, с боков, с высоты...
Что тут, епископ, почувствовал ты?

Зубы об камни они наострили,
Грешнику в кости их жадно впустили,
Весь по суставам раздернут был он...
Так был наказан епископ Гаттон.



QUEEN ORRACA, AND THE FIVE MARTYRS OF MOROCCO

*This Legend is related in the Chronicle of Affonso II,
and in the Historia Serafica of Fr. Manoel da Esperança.*

The friars five have girt their loins,
And taken staff in hand;
And never shall those friars again
Hear mass in Christian land.

They went to Queen Orraca,
To thank her and bless her then;
And Queen Orraca in tears
Knelt to the holy men.

“Three things, Queen Orraca,
We prophesy to you:
Hear us, in the name of God!
For time will prove them true.

In Morocco we must martyr'd be;
Christ hath vouchsafed in thus:
We shall shed our blood for him
Who shed his blood for us.

To Coimbra shall our bodies be brought;
For such is the will divine;
That Christians may behold and feel
Blessings at our shrine.

And when unto the place of rest
Our bodies shall draw nigh,
Who sees us first, the King or you,
That one that night must die.

Fare thee well, Queen Orraca;
For thy soul a mass we will say,
Every day while we do live,
And on thy dying day.”

КОРОЛЕВА УРАКА
И ПЯТЬ МУЧЕНИКОВ

Баллада

Пять чернецов в далекий путь идут;
Но им назад уже не возвратиться;
В отечестве им боле не молиться:
Они конец меж нехристей найдут.

И с набожной Уракой королевой,
Собравшись в путь, прощаются они:
«Ты нас в своих молитвах помяни,
А над тобой Христос с Пречистой Девой!

Послушай, три пророчества тебе
Мы, отходя, на память оставляем;
То суд небесный, он неизменяем;
Смирись, своей покорствуя судьбе.

В Марокке мы за веру нашей кровью
Омоем землю; там в последний час
Прославим мы Того, кто сам за нас
Мучение приял с такой любовью.

В Коимбру наши грешные тела
Перенесут: на то святая воля,
Дабы смиренных мучеников доля
Для христиан спасением была.

И тот, кто первый наши гробы встретит
Из вас двоих, король иль ты, умрет
В ту ночь: на утро новый день взойдет,
Его ж очей он боле не осветит.

Прости же, королева, Бог с тобой!
Вседневно за тебя молиться станем,
Пока мы живы; и тебя помянем
В ту ночь, когда конец настанет твой».

The friars they blest her, one by one,
Where she knelt on her knee;
And they departed to the land
Of the Moors beyond the sea.

“What news, O King Affonso?
What news of the friars five?
Have they preach’d to the Miramamolin;
And are they still alive?”

“They have fought the fight, O Queen!
They have run the race;
In robes of white they hold the palm
Before the throne of grace.

All naked in the sun and air
Their mangled bodies lie;
What Christian dared to bury them,
By the bloody Moors would die.”

“What news, O King Affonso,
Of the Martyrs five what news?
Doth the bloody Miramamolin
Their burial still refuse?”

“That on a dunghill they should rot,
The bloody Moor decreed;
That their dishonour’d bodies should
The dogs and vultures feed:

But the thunder of God roll’d over them,
And the lightning of God flash’d round;
Nor thing impure, nor man impure,
Could approach the holy ground.

A thousand miracles appall’d
The cruel Pagan’s mind.
Our brother Pedro brings them here,
In Coimbra to be shrined.”

Every altar in Coimbra
Is drest for the festival day;

Пять чернецов, один после другова
Благословив ее, в свой путь пошли,
И в Африку смиренно понесли
Небесный дар учения Христова.

«Король Альфонзо, знает ли что свет
О чернецах? Какая их судьбина?
Приял ли ум царя Мирамолина
Ученье их? Или уже их нет?»

«Свершилося великое их дело:
В небесную они вступили дверь;
Пред Господом стоят они теперь
В венце, в одежде мучеников белой.

А их тела, под зноем, под дождем,
Лежат в пыли, истерзанны мученьем;
И верные почтить их погребеньем
Не смеют, трепеща перед царем».

«Король Альфонзо, из земли далекой
Какая нам о мучениках весть?
Оказана ль им погребенья честь?
Смягчился ли Мирамолин жестокой?»

«Свирепый мавр хотел, чтоб их тела
Без погребенья честного истлели,
Чтоб расклевал их вран иль псы их съели,
Чтоб их костей земля не приняла.

Но Божии там молнии пылали;
Но Божий гром всечасно падал там;
К почиющим в нетлении телам
Ни пес, ни вран коснуться не дерзали.

Мирамолин, сим чудом поражен,
Подумал: нам такие страшны гости!

All the people in Coimbra
Are dight in their richest array.

Every bell in Coimbra
Doth merrily, merrily ring;
The clergy and the knights await,
To go forth with the Queen and the King.

“Come forth, come forth, Queen Orraca!
We make the procession stay.”
“I beseech thee, King Affonso,
Go you alone to-day.

I have pain in my head this morning,
I am ill at heart also:
Go without me, King Affonso,
For I am too sick to go.”

“The relics of the Martyrs five
All maladies endure;
They will requite the charity
You show’d them once, be sure:

Come forth then, Queen Orraca!
You make the procession stay:
It were a scandal and a sin
To abide at home to-day.”

Upon her palfrey she is set,
And forward then they go;
And over the long bridge they pass,
And up the long hill wind slow.

“Prick forward, King Affonso,
And do not wait for me;
To meet them close by Coimbra,
It were discourtesy.

A little while I needs must wait,
Till this sore pain be gone: –

И Педро, брат мой, взял святые кости;
Уж на пути к Коимбре с ними он».

Все алтари коимбрские цветами
И тканями богатыми блестят;
Все улицы коимбрские кипят
Шумящими, веселыми толпами.

Звонят в колокола, кадят, поют;
Священники и рыцари в собранье;
Готово все начать торжествованье,
Лишь короля и королеву ждут.

«Пойдем, жена моя Урака, время!
Нас ждут; собрался весь духовный чин».
«Поди, король Альфонзо, ты один,
Я чувствую болезни тяжкой бремя».

«Но мощи мучеников исцелят
Твою болезнь в единое мгновенье:
За прежнее твое благоволенье
Они теперь тебя вознаградят.

Пойдем же им во сретение с ходом;
Не замедляй процессии святой;
То будет грех и стыд для нас с тобой,
Когда мощей не встретим мы с народом».

На белого коня тогда она
Садится; с ней король; они за ходом
Тихонько едут; все кипит народом;
Дорога вся – как цепь людей одна.

«Король Альфонзо, назади со мною
Не оставайся ты; спеши вперед,
Чтоб первому, предупредя народ,
Почтить святых угодников мольбою.

I will proceed the best I can,
But do you and your knights prick on."

The King and his knights prick'd up the hill
Faster than before;
The King and his knights have topp'd the hill,
And now they are seen no more.

As King and his knights went down the hill,
A wild boar crost the way;
"Follow him! follow him!" cried the King;
"We have time by the Queen's delay!"

A-hunting of the boar astray
Is King Affonso gone;
Slowly, slowly, but straight the while,
Queen Orraca is coming on.

And winding now the train appears
Between the olive-trees;
Queen Orraca alighted then,
And fell upon her knees.

The friars of Alanquer came first,
And next the relics past; –
Queen Orraca look'd to see
The King and his knights come last.

She heard the horses tramp behind;
At that she turn'd her face:
King Affonso and his knights came up
All panting from the chase.

"Have pity upon my poor soul,
Holy martyr's five!" cried she:
"Holy Mary, Mother of God,
Virgin, pray for me!"

That day in Coimbra,
Many a heart was gay;

Меня всех сил лишает мой недуг,
И нужен мне хоть миг отдохновенья:
Последую тебе без замедленья...
Спешу ж вперед со свитою, мой друг».

Немедленно король коню дал шпоры
И поскакал со свитою вперед;
Уж назади остался весь народ,
Уж вдалеке их потеряли взоры.

Вдруг дикий вепрь им путь перебежал.
«Лови! лови!» (к своим нетерпеливый
Кричит король) – и конь его ретивый
Через поля за вепрем поскакал.

И вепря он гоняет. Той порою
Медлительно во сретенье мощей
Идет Урака с свитою своей,
И весь народ валит за ней толпою.

И вдалеке представился им ход:
Идут, поют, несут святые раки;
Уже они пред взорами Ураки,
И с нею в прах простерся весь народ.

Но где ж король?.. Увы! Урака плачет:
Исполниться пророчеству над ней!
И вот, глядит... со свитою своей,
Оконча лов, король Альфонзо скачет.

«Угодники святые, за меня
Вступитесь! (она гласит, рыдая)
Мне помощи, о Дева Пресвятая,
В последний час решительного дня».

И в этот день в Коимбре все ликует;
Народ поет; все улицы шумят;

But the heaviest heart in Coimbra,
Was that poor Queen's that day.

The festival is over,
The sun hath sunk in the west;
All the people in Coimbra
Have betaken themselves to rest.

Queen Orraca's father confessor
At midnight is awake;
Kneeling at the Martyr's shrine,
And praying for her sake.

Just at the midnight hour, when all
Was still as still could be,
Into the church of Santa Cruz,
Came a saintly company:

All in robes of russet grey
Poorly were they dight;
Each one girdled with a cord,
Like a friar minorite.

But from those robes of russet grey
There flow'd a heavenly light;
For each one was the blessed soul
Of a friar minorite.

Brighter than their brethren
Among the beautiful band,
Five there were who each did bear
A palm branch in his hand.

He who led the brethren,
A living man was he;
And yet he shone the brightest
Of all the company.

Before the steps of the altar,
Each one bow'd his head;

Не радостен лишь королевин взгляд;
На празднике одна она тоскует.

Проходит день, и праздник замолчал;
На западе давно уж потемнело;
На улицах Коимбры опустело;
И тихо час полночный наступал.

И в этот час во храме том, где раки
Угодников стояли, был монах;
Святым мощам молился он в слезах;
То был смиренный духовник Ураки.

Он молится... вдруг час полночный бьет;
И поражен чудесным он виденьем;
Он видит: в храм с молитвой, с тихим
пением
Толпа гостей таинственных идет.

В суровые одеты власяницы,
Веревкою обвязаны простой;
Но блеск от них исходит неземной,
И светятся преображенны лица.

И в сонме том блистательней других
Являлися пять иноков, как братья;
Казалось, кровь их покрывала платья,
И ветви пальм в руках сияли их.

И тот, кто вел пришельцев незнакомых,
Казалось, был еще земли жилец;
Но и над ним горел лучей венец,
Как над святой главою им ведомых.

Пред алтарем они, устроясь в ряд,
Запели гимн торжественно-печальный:

And then with solemn voice they sung
The service of the dead.

“And who are ye, ye blessed saints?”
The father confessor said;
“And for what happy souls sing ye
The service of the dead?”

“These are the souls of our brethren in bliss,
The Martyrs five are we:
And this is our father Francisco,
Among us bodily.

We are come hither to perform
Our promise to the Queen;
Go thou to King Affonso,
And say what thou hast seen.”

There was loud knocking at the door,
As the heavenly vision fled;
And the porter called to the confessor,
To tell him the Queen was dead.



MARY THE MAID OF THE INN

Who is yonder poor Maniac, whose wildly-fix'd eyes
Seem a heart overcharged to express?
She weeps not, yet often and deeply she sighs;
She never complains, but her silence implies
The composure of settled distress.

No pity she looks for, no alms does she seek,
Nor for raiment nor food doth she care:
Through her rags do the winds of the winter blow bleak

Казалось, свершали погребальный
За упокой души они обряд.

«Скажите, кто вы? (чудом изумленной,
Спросил святых пришельцев духовник)
О ком поет ваш погребальный лик?
О чьей душе вы молитесь блаженной?»

«Угодников святых ты слышишь глас;
Мы братья их, пять чернецов смиренных:
Сопричтены за муки в лик блаженных;
Отец Франциск живой предводит нас.

Исполнили мы королеве данный
Обет: ее теперь возьмет земля;
Поди отсель, уведошь короля
О том, чему ты зритель был избранный».

И скрылось все... Оставив храм, чернец
Спешит к Альфонзу с вестию печальной...
Вдруг тяжело звон раздался погребальной:
Он королевин возвестил конец.



ДВЕ БЫЛИ И ЕЩЕ ОДНА

(Фрагмент)

День был ясен и тепел; к закату сходящее солнце
Ярко сияло на чистом лазоревом небе. Спокойно
Дедушка, солнцем согретый, сидел у ворот на скамейке;
Глядя на ласточек, быстро круживших в воздушном
пространстве,
Вслед за ними пускал он дымок из маленькой трубки;
Легкими кольцами дым подымался и, с воздухом слившись,
В нем пропадал. Маргарита, Луиза и Лотта за пряжей
Чинно сидели кругом; самопрялки жужжали, и тонкой
Струйкой нити вилился; Фриц работал, а Энни,

On that wither'd breast, and her weather-worn cheek
Hath the hue of a mortal despair.

Yet cheerful and happy, nor distant the day,
Poor Mary the Maniac hath been;
The Traveller remembers who journey'd this way
No damsel so lovely, no damsel so gay,
As Mary, the Maid of the Inn.

Her cheerful address fill'd the guests with delight
As she welcomed them in with a smile;
Her heart was a stranger to childish affright,
And Mary would walk by the Abbey at night
When the wind whistled down the dark aisle.

She loved, and young Richard had settled the day,
And she hoped to be happy for life:
But Richard was idle and worthless, and they
Who knew him would pity poor Mary, and say
That she was too good for his wife.

'T was in autumn, and stormy and dark was the night,
And fast were the windows and door;
Two guests sat enjoying the fire that burnt bright,
And smoking in silence, with tranquil delight
They listen'd to hear the wind roar.

"'T is pleasant," cried one, "seated by the fire-side,
To hear the wind whistle without."
"What a night for the Abbey!" his comrade replied,
"Methinks a man's courage would now be well tried
Who should wander the ruins about.

I myself, like a school-boy, should tremble to hear
The hoarse ivy shake over my head;
And could fancy I saw, half persuaded by fear,
Some ugly old Abbot's grim spirit appear,
For this wind might awaken the dead!"

"I'll wager a dinner," the other one cried,
"That Mary would venture there now."

Вечный ленивец, играл на траве с курчавою шавкой.

Все молчали: как будто ангел тихий провеял.

«Дедушка, – Лотта сказала, – что ты примолк?»

Расскажи нам

Сказку; вечер ясный такой; нам весело будет

Слушать». – «Сказку? – старик проворчал,

высыпая из трубки

Пепел, – всё бы вам сказки! не лучше ль послушать вам

были?»

Быль расскажу вам, и быль не одну, а две». Опроставши

Трубку и снова набив ее табаком, из мошонки

Дедушка вынул огниво и, трут на кремень положивши,

Крепко ударил сталью в кремень; посыпались искры,

Трут загорелся, и трубка опять задымилась. Собравшись

С мыслями, дедушка так рассказывать с важностью начал:

«Дети, смотрите, как все перед нами прекрасно,

как солнце,

Медленно с неба спускаясь, все осыпает лучами;

Реин золотом льется; жатва как тихое море;

Холмы зеленые в свете вечернем горят; по дорогам

Шум и движенье; подняв паруса, нагруженные барки

Быстро бегут по водам; а наша приходская церковь...

Окна ее как огни меж темными липами блещут;

Вкруг мелькают кресты на кладбище, и в воздухе теплом

Птицы вьются, мошки блестящею пылью мелькают;

Весь он полон говором, пеньем, жужжаньем...

прекрасен

Мир Господень! сердцу так радостно, сладко и вольно!

Скажешь: где бы в этом прекрасном мире Господнем

Быть несчастью? Ан нет! и не только несчастье –

злодейство

Место находит в нем. Видите ль там на высоком пригорке

Замок в обломках? Теперь по стенам расцветает зеленый

Плющ, и солнце его золотит, и звонкую песню беспечно,

Сидя в траве, на рожке там играет пастух. А на Рейне

Видите ль вы небольшой островок? Молодая из кленов

Роща на нем расцвела; под тенью ее разостлавши

Сети, рыбак готовит свой ужин, и дым голубую

“Then wager and lose!” with a sneer he replied,
“I’ll warrant she’d fancy a ghost by her side,
And faint if she saw a white cow.”

“Will Mary this charge on her courage allow?”
His companion exclaim’d with a smile;
“I shall win,—for I know she will venture there now,
And earn a new bonnet by bringing a bough
From the elder that grows in the aisle.”

With fearless good-humour did Mary comply,
And her way to the Abbey she bent;
The night was dark, and the wind was high,
And as hollowly howling it swept through the sky,
She shiver’d with cold as she went.

O’er the path so well known still proceeded the Maid
Where the Abbey rose dim on the sight.
Through the gateway she enter’d, she felt not afraid,
Yet the ruins were lonely and wild, and their shade
Seem’d to deepen the gloom of the night.

All around her was silent, save when the rude blast
Howl’d dismally round the old pile;
Over weed-cover’d fragments she fearlessly past,
And arrived at the innermost ruin at last
Where the elder-tree grew in the aisle.

Well pleas’d did she reach it, and quickly drew near,
And hastily gather’d the bough;
When the sound of a voice seem’d to rise on her ear—
She paused, and she listen’d all eager to hear,
And her heart panted fearfully now.

↪

The wind blew, the hoarse ivy shook over her head,
She listen’d—nought else could she hear;
The wind fell, her heart sunk in her bosom with dread,
For she heard in the ruins distinctly the tread
Of footsteps approaching her near.

Струйкой вьется по зелени темной. Взглянуть –
так прекрасный
Рай. Ну слушайте ж: очень недавно, там на пригорке,
Близко развалин замка, стояла гостиница – чистый,
Светлый, просторный дом, под вывеской *Черного вепря*.
В этой гостинице каждый прохожий в то время мог видеть
Бедную Эми. Подлинно бедная! дико потупив
Голову, в землю глаза неподвижно уставив, по целым
Дням сидела она перед дверью трактира на камне.
Плакать она не могла, но тяжело, тяжело вздыхала;
Жалоб никто от нее не слышал, но, Боже мой! всякой,
Раз поглядевши ей, бедной, в лицо, узнавал, что на свете
Все для нее миновалось: мертвою бледностью щеки
Были покрыты; глаза из глубоких впадин сверкали
Острым огнем; одежда была в беспорядке; как змеи,
Черные кудри по голым плечам раскиданы были.
Вечно молчала она и была тиха, как младенец;
Но порою, если случалось, что ветер просвищет,
Вдруг содрогалась, на что-то глаза упирала и, пальцем
Быстро туда указав, смеялась смехом безумным.
Бедная Эми! такую ль видали ее? Беззаботно
Жизнью бывало она веселилась, как вольная пташка.
Помню и я и старые гости *Черного вепря*,
Как нас радушной улыбкой и ласковым словом встречала
Эми, как весело шло угощенье. И все ей друзьями
Были в нашей округе. Кто веселость и живость
Всюду с собой приносил? Кого, как любимого гостя,
С криками вся молодежь встречала на праздниках? Эми.
Кто всегда так опрятно и чинно одет был? Кого наш
священник
Девушкам всем в образец поставлял? Кто, шумя как
ребенок
Резвый на игрищах, был так набожно тих за молитвой?
Словом, кто бедным был друг, за больными ходил,
с огорченным
Плакал, с детьми играл, как дитя? Все Эми, все Эми.
Господи Боже! она ли не стояла счастья? А вышло

Behind a wide column half breathless with fear
She crept to conceal herself there:
That instant the moon o'er a dark cloud shone clear,
And she saw in the moonlight two ruffians appear,
And between them a corpse did they bear.

Then Mary could feel her heart-blood curdle cold!
Again the rough wind hurried by,—
It blew off the hat of the one, and behold
Even close to the feet of poor Mary it roll'd,—
She felt, and expected to die.

“Curse the hat!” he exclaims. “Nay, come on till we hide
The dead body,” his comrade replies.
She beholds them in safety pass on by her side,
She seizes the hat, fear her courage supplied,
And fast through the Abbey she flies.

She ran with wild speed, she rush'd in at the door,
She gazed horribly eager around,
Then her limbs could support their faint burthen no more,
And exhausted and breathless she sunk on the floor,
Unable to utter a sound.

Ere yet her pale lips could the story impart,
For a moment the hat met her view;—
Her eyes from that object convulsively start,
For—what a cold horror then thrill'd through her heart
When the name of her Richard she knew!

Where the old Abbey stands, on the common hard by,
His gibbet is now to be seen;
His irons you still from the road may espy,
The traveller beholds them, and thinks with a sigh
Of poor Mary, the Maid of the Inn.



Все напротив. Она полюбила Бранда. Признаться,
Этот Бранд был молод, умен и красив; но худые
Слухи носились об нем: он с людьми недобрыми знался;
В церковь он не ходил; а в шинках, за картами,
кто был
Первый? Бранд. Колдовством ли каким он понравился
Эми,
Сам ли Господь ей хотел послать на земле испытанье,
С тем, чтоб душа ее, здесь в страданиях очистившись,
прямо
В рай перешла – не знаю, но Эми была уж невестой
Бранда, и все жалели об ней. Ну послушайте ж: вечер
Был осенний и бурный; в гостинице *Черного венфра*
Два сидели гостя; яркое пламя трещало в камине.
«Что за погода! – сказал один. – Не раздолье ль
в такую
Бурю сидеть у огня и слушать, как ветер холодный
Рвется в оконницы?» – «Правда, – другой отвечал, –
ни за что бы
Я теперь отсюда не вышел; ужас, не буря.
Месяц на небе есть, а ночь так темна, что хоть оба
Выколи глаза; плохо тому, кто в дороге!» – «Желал бы
Знать я, найдется ль такой удалец, чтоб теперь в тот
старинный
Замок сходить? Он близко, шагов с три сотни,
не боле;
Но признаться, днем я не трус, а ночью в такое
Время пойти туда, где, быть может, в потемках
Гость из могилы встретит тебя – извините; с живыми
Сладить можно, а с мертвым и смелость не в пользу;
храбрися
Сколько угодно душе, а что ты сделаешь, если
Вдруг пред тобою длинный, бледный, сухой,
с костяными
Пальцами станет, и два ужасные глаза упрутся
Дико в тебя, и ты ни с места, как камень? А в этом
Замке, все знают, нечисто; и в тихую ночь там
не тихо;

JASPAR

Jaspar was poor, and vice and want
Had made his heart like stone;
And Jaspar look'd with envious eyes
On riches not his own.

On plunder bent abroad he went
Toward the close of day,
And loiter'd on the lonely road
Impatient for his prey.

No traveller came—he loiter'd long,
And often look'd around,
And paused and listen'd eagerly
To catch some coming sound.

He sate him down beside the stream
That cross'd the lonely way,
So fair a scene might well have charm'd
All evil thoughts away;

He sate beneath a willow tree
Which cast a trembling shade,
The gentle river full in front
A little island made;

Where pleasantly the moon-beam shone
Upon the poplar trees,
Whose shadow on the stream below
Play'd slowly to the breeze.

He listen'd—and he heard the wind
That waved the willow tree;
He heard the waters flow along,
And murmur quietly.

He listen'd for the traveller's tread,
The nightingale sung sweet,—
He started up, for now he heard
The sound of coming feet;

Что же в бую, когда и мертвец повернется
в могиле?» –

«Страшно, правда; а я об заклад побьюся, что наша
Эми не струсит и в замок одна-одинешенька сходит». –
«Бейся, пробьешь». – «Изволь, по рукам! ты слышала,
Эми?

Хочешь ли новую шляпку выиграть к свадьбе? Сходи же
В замок и ветку нам с клена, который между обломков
Там растет, принеси; я знаю, что ты не боишься
Мертвых и бредням не веришь. Согласна ли, Эми?» –
«Согласна, –

Эми сказала с усмешкой. – Бояться тут нечего, разве
Бури; а против ночных привидений защитой молитва».
С этим словом Эми пошла. Развалины были
Близко; но ветер выл и ревел; темнота гробовая
Все покрывала, и тучи, как черные горы, задвинув
Небо, страшно ворочались. Эми знакомой тропинкой
Входит без всякого страха в средину развалин;
Клен недалеко; вдруг ветер утих на минуту; и Эми
Слышит, что кто-то идет живой, а не мертвый; ей стало
Страшно... слушает... ветер снова поднялся и снова
Стих, и снова послышалось ей, что идут; в испуге
К груде развалин прижалась Эми. В это мгновенье
Ветром раздвинуло тучи, и месяц очистился. Что же
Эми увидела? Два человека – две черные тени –
Крадутся между обломков и тащат мертвое тело.
Ветер ударил сильнее; с головы одного сорвался
Шляпа и к Эминым прямо ногам прикатилась; а месяц
В ту минуту пропал, и все опять потемнело.
«Стой! (послышался голос) шляпу ветром умчало». –
«После отыщешь, прежде окончим работу: зароем
Клад свой», – другой отвечал, и они удалились.

Схвативши
Шляпу, стремглав пустилась к гостинице Эми. Бледнее
Смерти в двери вбежала она и долго промолвить
Слова не в силах была; отдохнув, наконец рассказала
То, что ей в замке привиделось. «Вот обличитель
убийцам!» –

He started up and graspt a stake,
And waited for his prey;
There came a lonely traveller,
And Jaspas crost his way.

But Jaspas's threats and curses fail'd
The traveller to appal,
He would not lightly yield the purse
Which held his little all.

Awhile he struggled, but he strove
With Jaspas's strength in vain;
Beneath his blows he fell and groan'd,
And never spake again.

Jaspas raised up the murder'd man,
And plunged him in the flood,
And in the running water then
He cleansed his hands from blood.

The waters closed around the corpse,
And cleansed his hands from gore,
The willow waded, the stream flow'd on,
And murmur'd as before.

There was no human eye had seen
The blood the murderer spilt,
And Jaspas's conscience never knew
The avenging goad of guilt.

And soon the ruffian had consumed
The gold he gain'd so ill,
And years of secret guilt pass'd on,
And he was needy still.

One eve beside the alehouse fire
He sate as it befell,
When in there came a labouring man
Whom Jaspas knew full well.

He sate him down by Jaspas's side
A melancholy man,

Шляпу поднявши, громко примолвила Эми; но тут же
В шляпу всмотрелась... «Ах!» и упала на пол без

чувства:

Брандово имя стояло на шляпе. Мне нечего боле
Вам рассказывать. В этот миг помутился рассудок
Бедной Эми; Господь милосердный недолго страдать ей
Дал на земле: ее отнесли на кладбище. Но долго
Видели столб с колесом на пригорке близ замка;

прохожим

Он приводил на память и Бранда и бедную Эми.
Все исчезло теперь: и гостиницы нет; лишь могилка
Бедной Эми цветет, как цвела, и над нею спокойно». —
Дедушка кончил и молча стал выколачивать трубку.
Внучки также молчали и с грустью смотрели

на церковь:

Солнце играло на ней, и темные липы бросали
Тень на кладбище, где Эми давно покоилась в гробе. —
«Вот вам другая быль, — сказал, опять раскуривши
Трубку, старик. — Каспар был беден. К буйной,

развратной

Жизни привык он, и сердце в нем сделалось камнем.

Но жадным

Оком смотрел на чужое богатство Каспар.

На злодейство

Трудно ль решиться тому, кто шатается праздно,

не помня

Бога? Так и случилось. Каспар на ночную добычу
Вышел. Вы видите остров на Рейне? Вдоль берега

вьетсяя

Против этого острова, мимо утеса, дорожка,
Там у самой дорожки, под темным утесом, в ночное
Позднее время Каспар засел и ждал: не пройдет ли
Кто-нибудь мимо? Ночь прекрасна была; освещенный
Полной луной островок отражался в воде, и густые
Клены, глядясь в них, стояли тихо, как черные тени;
Все покоилось... волны изредка в берег плескали,
В листьях журчало, и пел соловей. Но злодейским

For spite of honest toil, the world
Went hard with Jonathan.

His toil a little earn'd, and he
With little was content;
But sickness on his wife had fallen,
And all he had was spent.

Then with his wife and little ones
He shared the scanty meal,
And saw their looks of wretchedness,
And felt what wretches feel.

That very morn the Landlord's power
Had seized the little left,
And now the sufferer found himself
Of every thing bereft.

He leant his head upon his hand,
His elbow on his knee,
And so by Jasper's side he sate,
And not a word said he.

"Nay—why so downcast!" Jasper cried,
"Come—cheer up, Jonathan!
Drink, neighbour, drink! 't will warm thy heart.—
Come! come! take courage, man!"

He took the cup that Jasper gave,
And down he drain'd it quick;
"I have a wife," said Jonathan,
"And she is deadly sick.

She has no bed to lie upon,
I saw them take her bed—
And I have children—would to God
That they and I were dead!

Our Landlord he goes home to-night,
And he will sleep in peace—

Замыслом полный, Каспар не слышал ничего; он иное
Жадным подслушивал ухом. И вот напоследок он

слышит:

Кто-то идет по дороге; то был одинокий прохожий.
Выскочил, словно как зверь из берлоги, Каспар;

и недолго

Длилась борьба между ими: бедный путник с тяжелым
Стоном упал на землю, зарезанный. Мертвое тело
В воду стащил Каспар и вымыл кровавые руки;
Брызнули волны, раздавшись под трупом, и снова

слилися

В гладкую зыбь; все стало по-прежнему тихо, и сладко
Петь продолжал соловей. Каспар беззаботно с добычей
В путь свой пошел; свидетелей не было; совесть

молчала.

Скоро истратил разбойник добытое кровью, и скоро
Голым стал он по-прежнему. Годы прошли;

об убийстве,

Кроме Бога, никто не проведал; но слушайте дале.

Раз Каспар сидел за столом в гостинице. Входит
Старый знакомец его, арендарь Веньямин: он садится
Подле Каспара; он крепко, крепко задумчив:

и вправду

Было о чем призадуматься: денно и ночью работал,
Честно жил Веньямин, а все понапрасну; тяжелый
Крест достался ему: семью имел он большую;
Всех одень, напой, накорми... а чем? И вдобавок
Новое горе постигло его: жена от тяжелой
Скорби слегла в постель, и деньги пошли за лекарство;
Бог помог ей; но с той поры все хуже да хуже; и часто
Нечего есть; жена молчит, но тает как свечка;
Дети криком кричат; наконец, остальное помещик
В доме силою взял, в уплату за долг; и из дома
Выгнать грозился. Эта беда с Веньямином случилась
Утром, а вечером он Каспара в гостинице встретил.
Рядом с ним он сидел у стола; опершись на колено
Локтем, рукою закрывши глаза, молчал он как

мертвый.

I would that I were in my grave,
For there all troubles cease.

In vain I pray'd him to forbear,
Though wealth enough has he!
God be to him as merciless
As he has been to me!"

When Jasper saw the poor man's soul
On all his ill intent,
He plied him with the heartening cup,
And with him forth he went.

"This landlord on his homeward road
'Twere easy now to meet.
The road is lonesome, Jonathan!—
And vengeance, man! is sweet."

He listen'd to the tempter's voice,
The thought it made him start;—
His head was hot, and wretchedness
Had harden'd now his heart.

Along the lonely road they went
And waited for their prey,
They sate them down beside the stream
That cross'd the lonely way.

They sate them down beside the stream
And never a word they said,
They sate and listen'd silently
To hear the traveller's tread.

The night was calm, the night was dark,
No star was in the sky,
The wind it waded the willow boughs,
The stream flow'd quietly.

The night was calm, the air was still,
Sweet sung the nightingale;
The soul of Jonathan was soothed,
His heart began to fail.

«Что с тобой, Веньямин? – спросил Каспар. – Ты
как будто
В воду опущен. Послушай, сосед, не распить ли нам
вместе
Кружку вина? Веселее на сердце будет; отведай».
Кружку взял Веньямин и выпил. «Тяжко приходит
Жить, – сказал он. – Жена умирает, и хилые кости
Не на чем ей успокоить: злодеи последнюю взяли
Нынче постелю. А дети – Господи Боже мой! лучше б
Им и мне в могилу. Помещик наш нынешней ночью
В замок свой пышный поедет и там на мягких
•подушках,
Вкусно поужинав, сладко заснет... а я, воротясь
В дом мой, где голые стены, что найду там?
Бездушный!
Я ли Христом да Богом его не молил? У него ли
Мало добра?.. Пускай же Всевышний Господь
на судилище страшном
Так же с ним немилостив будет, как он был со мною!»
Слушал Каспар и в душе веселился, как злой
искуситель:
В кружку соседу вина подливал он и скоро зажег в нем
Кровь, и потом из гостиницы вышел с ним вместе.
Уж было
Поздно. «Сосед, – Веньямину он тихо шепнул, –
господин твой
Нынешней ночью один в свой замок поедет; дорога
Близко, она пуста; а мщенье, знаешь ты, сладко».
Речью такой был сражен Веньямин; но тяжкая
бедность,
Горе семьи, досада, хмель, темнота, обольщенье
Слов коварных... довольно, чтоб слабое сердце опутать.
Так ли, не так ли, но вот пошел Веньямин
за Каспаром;
Против знакомого острова сели они под утесом,
Близко дороги, и ждут; ни один ни слова; не смеют
Вслух дышать и слушают молча. Их окружала

“T is weary waiting here,” he cried,
“And now the hour is late,—
Methinks he will not come to-night,
No longer let us wait.”

“Have patience, man!” the ruffian said,
“A little we may wait,
But longer shall his wife expect
Her husband at the gate.”

Then Jonathan grew sick at heart,
“My conscience yet is clear!
Jaspar—it is not yet too late—
I will not linger here.”

“How now!” cried Jaspar, “why I thought
Thy conscience was asleep.
No more such qualms, the night is dark,
The river here is deep.”

“What matters that,” said Jonathan,
Whose blood began to freeze,
“When there is One above whose eye
The deeds of darkness sees!”

“We are safe enough,” said Jaspar then,
“If that be all thy fear!
Nor eye below, nor eye above,
Can’ pierce the darkness here.”

That instant as the murderer spake
There came a sudden light;
Strong as the mid-day sun it shone,
Though all around was night;

It hung upon the willow tree,
It hung upon the flood,
It gave to view the poplar isle,
And all the scene of blood.

Тихая, темная ночь; звезд не сверкало на небе,
Лист едва шевелился, без ропота волны лилися,
Все покоилось сладко, и пел соловей. Душа Веньямина
Вдруг согрелась: в ней совесть проснулась, и он
содрогулся.

«Нечего ждать, – он сказал, – уж поздно; уйдем, не
придет он». –

«Будь терпелив, – злодей возразил, – пождем
и дождемся.

Доле зато дожидаться его возвращенья придется
В замке жене; да будет напрасно ее нетерпенье».
Сердце от этих слов повернулось в груди Веньямина;
Вспомнил свою он жену и сказал: «Теперь прояснилась
Совесть моя; не поздно еще, не хочу оставаться!» –
«Что ты? – воскликнул Каспар. – Послушался совести;
бредит.

Ночь темна, река глубока, здесь место глухое;
Кто нас увидит?» Мороз подрал Веньямина по коже.
«Кто нас увидит? А разве нет свидетеля в небе?» –
«Сказки! здесь мы одни. В ночной темноте не приметит
Нас ни земной, ни небесный свидетель». Тут
неоглядкой

Прочь от него побежал Веньямин. И в это мгновенье
Темное небо ярким, страшным лучом раздвоилось;
Все кругом могильная мгла покрывала; на том лишь
Месте, где спрятаться думал Каспар, было как
в ясный

Полдень светло. И вот пред глазами его повторилось
Все, что он некогда тут совершил во мраке глубокой
Ночи один: он услышал шум от упавшего в воду
Трупа; он черный труп на волнах освещенных увидел;
Волны раздвинулись, труп нырнул в них, и все
потемнело...

Дети, долго с тех пор под этим утесом, как дикий
Зверь, гнезился Каспар сумасшедший. Не ведал
он кровли;
Был безобразен; лицо как кора, глаза как два угля,

The traveller who journeys there,
He surely hath espied
A madman who has made his home
Upon the river's side.

His cheek is pale, his eye is wild,
His look bespeaks despair;
For Jaspar since that hour has made
His home unshelter'd there.

And fearful are his dreams at night,
And dread to him the day!
He thinks upon his untold crime,
And never dares to pray.

The summer suns, the winter storms,
'O'er him unheeded roll,
For heavy is the weight of blood
Upon the maniac's soul!



Волосы клочьями, ногти на пальцах как черные когти,
Вместо одежды гнилое тряпье; худой, изможденный,
Чахлый, все ребра наружу, он в страхе все жался
к утесу,
Все как будто хотел в нем спрятаться, и все озирался
Смутно кругом; но порою вдруг выбегал и, на небо
Дико уставив глаза, шептал: «Он видит, Он видит».
Дедушка, был досказав, посмотрел усмехаясь
на внучек,
«Что же вы так присмирели? – спросил он. – Видно,
рассказ мой
Был не на шутку печален? Пойдите ж, я кое-что
вспомнил,
Что рассмешит вас и вместе научит. Слушайте<...>



Thomas Campbell

LORD ULLIN'S DAUGHTER

A chieftain, to the Highlands bound,
Cries, "Boatman, do not tarry!
And I'll give thee a silver pound,
To row us o'er the ferry."—

"Now who be ye, would cross Lochgyle,
This dark and stormy water?"
"O, I'm the chief of Ulva's isle,
And this Lord Ullin's daughter.—

And fast before her father's men
Three days we've fled together,
For should he find us in the glen,
My blood would stain the heather.

His horsemen hard behind us ride;
Should they our steps discover,
Then who will cheer my bonny bride
When they have slain her lover?"—

Out spoke the hardy Highland wight,
"I'll go, my chief—I'm ready:—
It is not for your silver bright;
But for your winsome lady:

And by my word! the bonny bird
In danger shall not tarry;
So though the waves are raging white
I'll row you o'er the ferry."—

УЛЛИН И ЕГО ДОЧЬ

Был сильный вихорь, сильный дождь;
Кипя, ярилася пучина;
Ко берегу Рино, горный вождь,
Примчался с дочерью Уллина.

«Рыбак, прими нас в твой челнок;
Рыбак, спаси нас от погони;
Уллин с дружиной недалек:
Нам слышны крики; мчатся кони».

«Ты видишь ли, как зла вода?
Ты слышишь ли, как волны громки?
Пускаться плыть теперь беда:
Мой челн не крепок, весла ломки».

«Рыбак, рыбак, подай свой челн;
Спаси нас: сколь ни зла пучина,
Пощада может быть от волн —
Ее не будет от Уллина!»

Гроза сильней, пучина злей,
И ближе, ближе шум погони;
Им слышен тяжкий храп коней,
Им слышен стук мечей о брони.

By this the storm grew loud apace,
The water-wraith was shrieking;
And in the scowl of heaven each face
Grew dark as they were speaking.

But still as wilder blew the wind,
And as the night grew drearer,
Adown the glen rode armed men,
Their trampling sounded nearer.—

“O haste thee, haste!” the lady cries,
“Though tempests round us gather;
I’ll meet the raging of the skies,
But not an angry father.”—

The boat has left a stormy land,
A stormy sea before her,—
When, oh! too strong for human hand,
The tempest gather’d o’er her.—

And still they row’d amidst the roar
Of waters fast prevailing:
Lord Ullin reach’d that fatal shore,
His wrath was changed to wailing.

For sore dismay’d, through storm and shade,
His child he did discover:—
One lovely hand she stretch’d for aid,
And one was round her lover.

“Come back! come back!” he cried in grief
Across this stormy water:
“And I’ll forgive your Highland chief,
My daughter!—oh my daughter!”—

’Twas vain: the loud waves lash’d the shore,
Return or aid preventing:—
The waters wild went o’er his child,
And he was left lamenting.



«Садитесь, в добрый час; плывем».
И Рино сел, с ним дева села;
Рыбак отчалил; челноком
Седая бездна овладела.

И смерть отвсюду им: открыт
Пред ними зев пучины жадный;
За ними с берега грозит
Уллин, как буря беспощадный.

Уллин ко берегу прискакал;
Он видит: дочь уносят волны;
И гнев в груди отца пропал,
И он воскликнул, страха полный:

«Мое дитя, назад, назад!
Прощенье! возвратись, Мальвина!»
Но волны лишь ответ шумят
На зов отчаянный Уллина.

Ревет гроза, черна как ночь;
Летает челн между волнами;
Сквозь пену их он видит дочь
С простертыми к нему руками.

«О, возвратися, возвратися!»
Но грозно раздалась пучина,
И волны, челн пожрав, слились
При крике жалобном Уллина.



Thomas Moore

FROM "LALLA ROOKH"

PARADISE AND THE PERI

One morn a Peri at the gate
Of Eden stood disconsolate;
And as she listened to the Springs
 Of Life within like music flowing
And caught the light upon her wings
 Thro' the half-open portal glowing,
She wept to think her recreant race
Should e'er have lost that glorious place!

"How happy," exclaimed this child of air,
"Are the holy Spirits who wander there
 "Mid flowers that never shall fade or fall;
"Tho' mine are the gardens of earth and sea
"And the stars themselves have flowers for me,
 "One blossom of Heaven outblooms them all!

"Tho' sunny the Lake of cool CASHMERE
"With its plane-tree Isle reflected clear,
 "And sweetly the founts of that Valley fall;
"Tho' bright are the waters of SING-SU-HAY
"And the golden floods that thitherward stray,
"Yet — oh, 't is only the Blest can say
 "How the waters of Heaven outshine them all!

ПЕРИ И АНГЕЛ

Повесть

Однажды Пери молодая
У врат потерянного рая
Стояла в грустной тишине;
Ей слышалось: в той стороне,
За неприступными вратами,
Журчали звонкими струями
Живые райские ключи,
И неба райского лучи
Лились в полуотверсты двери
На крылья одинокой Пери;
И тихо плакала она
О том, что рая лишена.
«Там духи света обитают;
Для них цветы благоухают
В неувядаемых садах.
Хоть много на земных лугах
И на лугах светил небесных,
Есть много и цветов прелестных:
Но я чужда их красоты —
Они не райские цветы.
Обитель роскоши и мира,
Свежа долина Кашемира;
Там светлы озера струи,
Там сладостно журчат ручьи —
Но что их блеск перед блистаньем,
Что сладкий глас их пред журчаньем
Эдемских, жизни полных вод?»

"Go, wing thy flight from star to star,
 "From world to luminous world as far
 "As the universe spreads its flaming wall:
 "Take all the pleasures of all the spheres
 "And multiply each thro' endless years
 "One minute of Heaven is worth them all!"

The glorious Angel who was keeping
 The gates of Light beheld her weeping,
 And as he nearer drew and listened
 To her sad song, a tear-drop glistened
 Within his eyelids, like the spray
 From Eden's fountain when it lies
 On the blue flower which—Bramins say—
 Blooms nowhere but in Paradise.

"Nymph of a fair but erring line!"
 Gently he said—"One hope is thine.
 "'T is written in the Book of Fate,
 "*The Peri yet may be forgiven*
 "*Who brings to this Eternal gate*
 "*The Gift that is most dear to Heaven!*
 "Go seek it and redeem thy sin—
 "'T is sweet to let the Pardoned in."

Rapidly as comets run
 To the embraces of the Sun;—
 Fleeter than the starry brands
 Flung at night from angel hands
 At those dark and daring sprites
 Who would climb the empyreal heights,
 Down the blue vault the PERI flies,
 And lighted earthward by a glance

Направь стремительный полет
К бесчисленным звездам созданья,
Среди их пышного блистанья
Неизмеримость пролети,
Все их блаженства изочти,
И каждое пусть вечность длится...
И вся их вечность не сравнится
С одной минутою небес».
И быстрые потоки слез
Бежали по ланитам Пери.
Но Ангел, страж эдемской двери,
Ее прискорбную узрел;
Он к ней с утехой подлетел;
Он вслушался в ее стенанья,
И ангельского состраданья
Слезой блеснули очеса...
Так чистой каплею роса
В сиянье райского востока,
Так капля райского потока
Блестит на цвете голубом,
Который дышит лишь в одном
Саду небес (гласит преданье).
И он сказал ей: «Упованье!
Узнай, что небом решено:
Той пери будет прощено,
Которая ко входу рая
Из дальнего земного края
С достойным даром прилетит.
Лети — найди — судьба простит;
Впускать утешно примиренных».

Быстрее комет воспламененных,
Быстрее звездных тех мечей,
Которые во тьме ночей
В деснице ангелов блистают,
Когда с небес они свергают
Духов, противных небесам,
По светло-голубым полям
Эфирным Пери устремилась;
И скоро Пери очутилась

That just then broke from morning's eyes,
Hung hovering o'er our world's expanse.

But whither shall the Spirit go
To find this gift for Heaven?—"I know
"The wealth," she cries, "of every urn
"In which unnumbered rubies burn
"Beneath the pillars of CHILMINAR;
"I know where the Isles of Perfume are
"Many a fathom down in the sea,
"To the south of sun-bright ARABY;
"I know too where the Genii hid
"The jewelled cup of their King JAMSHID,
"With Life's elixir sparkling high—
"But gifts like these are not for the sky.
"Where was there ever a gem that shone
"Like the steps of ALLA'S wonderful Throne?
"And the Drops of Life—oh! what would they be
"In the boundless Deep of Eternity?"

While thus she mused her pinions fanned
The air of that sweet Indian land
Whose air is balm, whose ocean spreads
O'er coral rocks and amber beds,
Whose mountains pregnant by the beam
Of the warm sun with diamonds teem,
Whose rivulets are like rich brides,
Lovely, with gold beneath their tides,
Whose sandal groves and bowers of spice
Might be a Peri's Paradise!
But crimson now her rivers ran
With human blood—the smell of death

С лучом денницы молодой
Над пробужденною землей.
«Но где искать святого дара?
Я знаю тайны Шильминара:
Столпы там гордые стоят;
Под ними скрытые, горят
В сосудах гениев рубины.
Я знаю дно морской пучины:
Близ Аравийской стороны
Во глубине погребены
Там острова благоуханий.
Знаком мне край очарований:
Воды исполненный живой,
Сосуд Ямшидов золотой
Таится там, храним духами.
Но с сими ль в рай войти дарами?
Сии дары не для небес.
Что камней блеск в виду чудес,
Престолу Аллы предстоящих?
Что капля вод животворящих
Пред вечной бездной бытия?»
Так думая, она в края
Святого Инда низлетала.
Там воздух сладок; цвет коралла,
Жемчуг и золото янтарей
Там украшают дно морей;
Там горы зноем пламенеют,
И в недре их алмазы рдеют;
И реки в брачном блеске там,
С любовью к пышным берегам
Теснясь, приносят дани злата.
И доли, полны аромата,
И древ сандалных фимиам,
И купы роз могли бы там
Для Пери быть прекрасным раем...
Но что же? Кровью обагрям
Поток увидела она.
В лугах прекрасная весна,
А люди — братья, братий жертвы —
Обезображены и мертвы,

Came reeking from those spicy bowers,
And man the sacrifice of man
 Mingled his taint with every breath
Upwafted from the innocent flowers.
Land of the Sun! what foot invades
Thy Pagods and thy pillared shades—
Thy cavern shrines and Idol stones,
Thy Monarchs and their thousand Thrones?

'T is He of GAZNA—fierce in wrath
 He comes and INDIA'S diadems
Lie scattered in his ruinous path.—
 His bloodhounds he adorns with gems,
Torn from the violated necks
 Of many a young and loved Sultana;
 Maidens within their pure Zenana,
 Priests in the very fane he slaughters,
And chokes up with the glittering wrecks
 Of golden shrines the sacred waters!
Downward the PERI turns her gaze,
And thro' the war-field's bloody haze
Beholds a youthful warrior stand
 Alone beside his native river,—
The red blade broken in his hand
 And the last arrow in his quiver.
“Live,” said the Conqueror, “live to share
“The trophies and the crowns I bear!”
Silent that youthful warrior stood—
Silent he pointed to the flood
All crimson with his country's blood,
Then sent his last remaining dart,
For answer, to the Invader's heart.

Лежа на бархате лугов,
Дыханье чистое цветов
Дыханьем смерти заражали.
О, чьи стопы тебя попрали,
Благословенный солнцем край?
Твоих садов тенистый рай,
Твоих богов святые лики,
Твои народы и владыки
Какой рукой истреблены?
Властитель Газны, вихрь войны,
Протек по Индии бедою;
Свой путь усыпал за собою
Он прахом отнятых корон;
На псов своих навесил он
Любимиц царских ожерелья;
Обитель чистую веселья,
Зенаны дев он осквернил;
Жрецов во храмах умертвил
И золотые их паго́ды
В священные обрушил воды.
И видит Пери с вышины:
На поле страха и войны
Боец, в крови, но с бодрым оком,
Над светлым родины потоком
Стоит один, и за спиной
Колчан с последнею стрелой;
Кругом товарищи сраженны...
Лицом бесстрашного плененный,
«Живи!» — тиран ему сказал.
Но воин молча указал
На обагренны кровью воды
И истребителю свободы
Послал ответ своей стрелой.
По твердой броне боевой
Стрела скользнула; жив губитель;
На трупы братьев пал их мститель;
И вдаль помчался шумный бой.
Все тихо; воин молодой
Уж умирал; и кровь скудела...
И Пери к юноше слетела

False flew the shaft tho' pointed well;
 The Tyrant lived, the Hero fell!—
 Yet marked the PERI where he lay,
 And when the rush of war was past
 Swiftly descending on a ray
 Of morning light she caught the last—
 Last glorious drop his heart had shed
 Before its free-born spirit fled!

“Be this,” she cried, as she winged her flight,
 “My welcome gift at the Gates of Light.
 “Tho' foul are the drops that oft distil
 “On the field of warfare, blood like this
 “For Liberty shed so holy is,
 “It would not stain the purest rill
 “That sparkles among the Bowers of Bliss!
 “Oh, if there be on this earthly sphere
 “A boon, an offering Heaven holds dear,
 “'T is the last libation Liberty draws
 “From the heart that bleeds and breaks in her cause!”
 “Sweet,” said the Angel, as she gave
 The gift into his radiant hand,
 “Sweet is our welcome of the Brave
 “Who die thus for their native Land.—
 “But see—alas!—the crystal bar
 “Of Eden moves not—holier far
 “Than even this drop the boon must be
 “That opes the Gates of Heaven for thee!”

3

Her first fond hope of Eden blighted,
 Now among AFRIC'S lunar Mountains
 Far to the South the PERI lighted
 And sleeked her plumage at the fountains

В сиянье утренних лучей,
Чтоб вежды гаснущих очей
Ему смежить рукой любви
И в смертный миг священной крови
Оставшую каплю взять.
Взяла... и на небо опять
Ее помчало упование.
«Богам угодное даянье
(Она сказала) я нашла:
Пролита кровь сия была
Во искупление свободы;
Чистейшие эдемски воды
С ней не сравнятся чистотой.
Так, если есть в стране земной
Достойное небес воззренья:
То что ж достойней приношенья
Сей дани сердца, все свое
Утратившего бытие
За дело чести и свободу?»
И к райскому стремится входу
Она с добычею земной.
«О Пери! дар прекрасен твой
(Сказал ей страж крылатый рая,
Приветно очи к ней склоняя),
Угоден храбрый для небес,
Который родине принес
На жертву жизнь... но видишь, Пери,
Кристалльные спокойны двери,
Не растворяется эдем...
Иной желают дани в нем».
Надежда первая напрасна.
И Пери, горестно-безгласна,
Опять с эфирной вышины
Стремится — и к горам Луны
На лоно Африки слетает.
Пред ней, рождаяся, блистает
В незнаемых истоках Нил,
Средь тех лесов, где он сокрыл
От нас младенческие воды
И где бесплотных хороводы,

Of that Egyptian tide whose birth
Is hidden from the sons of earth
Deep in those solitary woods
Where oft the Genii of the Floods
Dance round the cradle of their Nile
And hail the new-born Giant's smile.
Thence over EGYPT'S palmy groves,
Her grotts, and sepulchres of Kings,
The exiled Spirit sighing roves
And now hangs listening to the doves
In warm ROSETTA'S vale; now loves
To watch the moonlight on the wings
Of the white pelicans that break
The azure calm of MÆRIS' Lake.
'T was a fair scene: a Land more bright
Never did mortal eye behold!
Who could have thought that saw this night
Those valleys and their fruits of gold
Basking in Heaven's serenest light,
Those groups of lovely date-trees bending
Languidly their leaf-crowned heads,
Like youthful maids, when sleep descending
Warns them to their silken beds,
Those virgin lilies all the night
Bathing their beauties in the lake
That they may rise more fresh and bright,
When their beloved Sun 's awake,
Those ruined shrines and towers that seem
The relics of a splendid dream,
Amid whose fairy loneliness
Naught but the lapwing's cry is heard,
Naught seen but (when the shadows flitting,
Fast from the moon unsheath its gleam,)

Слетаясь утренней порой
Над люлькой бога водяной,
Тревожат сон его священный,
И великан новорожденный
Приветствует улыбкой их.
Средь пальм Египта вековых,
По гротам, холодной тьмы жилищам,
По сумрачным царей кладбищам
Летает Пери... то она,
Унылой думою полна,
Розетты знойною долиной,
Вслед за четою голубиной,
К приюту их любви летит,
Их стоны внемлет и грустит;
То, вея тихо, замечает,
Как яркий свет луны мелькает
На пеликановых крылах,
Когда на голубых водах
Мерида он плывет и плещет
И вокруг него лазурь трепещет.
Пред ней волшебная страна.
Небес далеких глубина
Сияла яркими звездами;
Дремали пальмы над водами,
Вершины томно преклоня,
Как девы, от веселий дня
Устав, в подушки пуховые
Склоняют головы младые;
Ночной упившись росой,
Лилеи с девственной красой
В роскошном сне благоухали
И ночью листья освежали,
Чтоб встретить милый день пышней;
Чертоги падшие царей,
В величии уединенья,
Великолепного виденья
Остатками казались там:
По их обрушенным стенам,
Ночной их страж, сова порхала
И ночь безмолвну окликала,

И временем, когда луна
Являлась вдруг, обнажена
От перелетного тумана,
Печально-тихая султана,
Как идол на столпе седом,
Сияла пурпурным крылом.
И что ж?.. Среди мирных сих явлений
Губительный пустыни гений
Приют нежданный свой избрал;
В эдем сей он чуму примчал
С песков степей воспламененных:
Под жаром крылий зараженных
Вмиг умирает человек,
Как былые, когда протек
Над ним самума вихорь знойный.
О, сколь для многих день, спокойно
Угаснувший среди их надежд,
Угас навек — и мертвых вежд
Уж не обрадует денницей!
И стала смрадною больницей
Благоуханная страна;
Сияньем дремлющим луна
Сребрит тела непогребенны;
Заразы ядом уstraшенный,
От них летит и ворон прочь;
Гиена лишь, бродя всю ночь,
Врывается для страшной пищи
В опустошенные жилищи;
И горе страннику, пред кем
Незапно вспыхнувшим огнем
Блеснут вблизи из мрака ночи
Ее огромны, злые очи!..
И Пери жалости полна;
И грустно думает она:
«О смертный, бедное творенье,
За древнее грехопаденье
Ценой ужасной платишь ты;
Есть в жизни райские цветы —
Но змей повсюду под цветами».

She wept—the air grew pure and clear
 Around her as the bright drops ran,
For there's a magic in each tear
 Such kindly Spirits weep for man!

Just then beneath some orange trees
Whose fruit and blossoms in the breeze
Were wantoning together, free,
Like age at play with infancy—
Beneath that fresh and springing bower
 Close by the Lake she heard the moan
Of one who at this silent hour,
 Had thither stolen to die alone.
One who in life where'er he moved,
 Drew after him the hearts of many;
Yet now, as tho' he ne'er were loved,
 Dies here unseen, unwept by any!
None to watch near him—none to slake
 The fire that in his bosom lies,
With even a sprinkle from that lake
 Which shines so cool before his eyes.
No voice well known thro' many a day
 To speak the last, the parting word
Which when all other sounds decay
 Is still like distant music heard;—
That tender farewell on the shore
Of this rude world when all is o'er,
Which cheers the spirit ere its bark
Puts off into the unknown Dark.

Deserted youth! one thought alone
 Shed joy around his soul in death—
That she whom he for years had known,
And loved and might have called his own
 Was safe from this foul midnight's breath,—
Safe in her father's princely halls
Where the cool airs from fountain falls,

И тихими она слезами
Заплакала — и все пред ней
Вдруг стало чище и светлей:
Так сильно слез очарованье,
Когда прольет их в состраданье
О человеке добрый дух...
Но близко вод, и взор и слух
Манящих свежими струями,
Под ароматными древами,
С которых ветвями слегка
Играли крылья ветерка,
Как младость с старостью играет,
Узрела Пери: умирает,
К земле припавши головой,
Безмолвно мученик молодой;
На лоне бесприветной ночи,
Покинут, неоплакан, очи
Смыкает он; и с ним уж нет
Толпы друзей, дотоле вслед
Счастливица милого летавшей;
В груди, от смертных мук уставшей,
Тяжелой язвы жар горит;
Вотще прохладный ключ блестит
Вблизи для жаждущего ока:
Никто и капли из потока
Ему не бросит на язык;
Ничей давно знакомый лик
В его последнее мгновенье —
Земли прощальное виденье —
Прискорбной прелестью своей
Не усладит его очей;
И не промолвит глас родного
Ему того *прости* святого,
Которое сквозь смертный сон,
Как удаляющийся звон
Небесной арфы, нас пленяет
И с нами вместе умирает.
О бедный юноша!.. Но он
В последний час свой ободрен
Еще надеждою земною,

Freshly perfumed by many a brand
Of the sweet wood from India's land,
Were pure as she whose brow they fanned.

But see—who yonder comes by stealth,
This melancholy bower to seek,
Like a young envoy sent by Health
With rosy gifts upon her cheek?
'T is she—far off, thro' moonlight dim
He knew his own betrothed bride,
She who would rather die with him
Than live to gain the world beside!—
Her arms are round her lover now,
His livid cheek to hers she presses
And dips to bind his burning brow
In the cool lake her loosened tresses.
Ah! once, how little did he think
An hour would come when he should shrink
With horror from that dear embrace,
Those gentle arms that were to him
Holy as is the cradling place
Of Eden's infant cherubim!
And now he yields—now turns away,
Shuddering as if the venom lay
All in those proffered lips alone—
Those lips that then so fearless grown
Never until that instant came
Near his unasked or without shame.
"Oh! let me only breathe the air,
"The blessed air, that's breathed by thee,
"And whether on its wings it bear
"Healing or death 't is sweet to me!
"There—drink my tears while yet they fall—
"Would that my bosom's blood were balm,

Что та, которая прямою
Ему здесь жизнь была
И с ним одной душой жила,
От яда ночи сей ужасной
Защищена под безопасной,
Под царской кровлею отца:
Там зной от милого лица
Рука невольниц отвечает;
Там легкий холод разливает
Игриво брызжущий фонтан,
И от курильниц, как туман,
Восходит амбры пар душистый,
Чтоб воздух зараженный в чистый
Благоуханьем превратить.
Но, ах! конец свой усладить
Он тщетной силится надеждой!
Под легкую ночной одеждой,
С горячей младостью ланит,
Уж дева прелести спешит,
Как чистый ангел исцеленья,
К нему, в приют его мученья.
И час его уж наступал,
Но близость друга угадал
Страдальца взор полузакрытый;
Он чувствует: ему ланиты
Лобзуют огненные уста,
Рука горячая слита
С его владеющей рукою,
И освежительной струею
Язык засохший напоен...
Но что ж?.. Несчастный!.. то сквозь сон
Одолевающей кончины
(Чтоб страшная своей судьбины
С возлюбленной не разделить)
Ее от груди отдалить
Он томной силится рукою;
То, увлекаемый душою,
Невольно к ней он грудь прижмет;
То вдруг уста он оторвет
От жадных уст, едва украдкой

“And, well thou knowst, I’d shed it all
“To give thy brow one minute’s calm.
“Nay, turn not from me that dear face—
“Am I not thine—thy own loved bride—
“The one, the chosen one, whose place
“In life or death is by thy side?
“Thinkst thou that she whose only light,
“In this dim world from thee hath shone
“Could bear the long, the cheerless night
“That must be hers when thou art gone?
“That I can live and let thee go,
“Who art my life itself?—No, no—
“When the stem dies the leaf that grew
“Out of its heart must perish too!
“Then turn to me, my own love, turn,
“Before, like thee, I fade and burn;
“Cling to these yet cool lips and share
“The last pure life that lingers there!”
She fails—she sinks—as dies the lamp
In charnel airs or cavern-damp,
So quickly do his baleful sighs
Quench all the sweet light of her eyes.
One struggle—and his pain is past—
Her lover is no longer living!
One kiss the maiden gives, one last,
Long kiss, which she expires in giving!

“Sleep,” said the PERI, as softly she stole
The farewell sigh of that vanishing soul,
As true as e’r warmed a woman’s breast—
“Sleep on, in visions of odor rest
“In balmier airs than ever yet stirred
“The enchanted pile of that lonely bird
“Who sings at the last his own death-lay
“And in music and perfume dies away!”
Thus saying, from her lips she spread
Unearthly breathings thro’ the place

На поцелуй стыдливо-сладкий
Дотоле смевших отвечать.
И говорит она: «Принять
Дай в сердце мне твое дыханье;
Мне уступи свое страданье,
Мне жребий свой отдай вполне.
Ах! очи обрати ко мне,
Пока их смерть не погасила;
Пока еще не позабыла
Душа любви своей земной,
Любовью поделись со мной;
И в смертный час свою мне руку
Подай на смерть, не на разлуку...»
Но, обессилена, томна,
Вотще в глазах его она
Тяжелым оком ищет взгляда:
Она уж гаснет, как лампада
Под душным сводом гробовым.
Уж быстрым трепетом своим
Скончала смерть его страданье —
И дева, другу дав лобзанье
С последним всей любви огнем,
Сама за ним в лобзанье том
Желанной смертью умирает.
И Пери тихо принимает
Прощальный вздох ее души.
«Покойтесь, верные, в тиши;
Здесь, посреди благоуханья,
Пускай эдемские мечтанья
Лелеют ваш прекрасный сон;
Да будет услаждаем он
Игрою музыки небесной
Иль пеньем птицы той чудесной,
Которая в последний час,
Торжественный подъемля глас,
Сама поет свое сожженье
И умирает в сладкопенье...»
И Пери, к ним склоняя взгляд,
Дыханьем райским аромат
Окрест их ложа разливает

And shook her sparkling wreath and shed
 Such lustre o'er each paly face
 That like two lovely saints they seemed,
 Upon the eve of doomsday taken
 From their dim graves in ordo sleeping;
 While that benevolent PERI beamed
 Like their good angel calmly keeping
 Watch o'er them till their souls would waken.

But morn is blushing in the sky;
 Again the PERI soars above,
 Bearing to Heaven that precious sigh
 Of pure, self-sacrificing love.
 High throbb'd her heart with hope elate
 The Elysian palm she soon shall win,
 For the bright Spirit at the gate
 Smiled as she gave that offering in;
 And she already hears the trees
 Of Eden with their crystal bells
 Ringing in that ambrosial breeze
 That from the throne of ALLA swells;
 And she can see the starry bowls
 That lie around that lucid lake
 Upon whose banks admitted Souls
 Their first sweet draught of glory take!

But, ah! even PERIS' hopes are vain—
 Again the Fates forbade, again
 The immortal barrier closed—“Not yet,”
 The Angel said as with regret
 He shut from her that glimpse of glory—
 “True was the maiden, and her story
 “Written in light o'er ALLA'S head
 “By seraph eyes shall long be read.
 “But, PERI, see—the crystal bar
 “Of Eden moves not—holier far
 “Than even this sigh the boon must be
 “That opens the Gates of Heaven for thee.”

И быстро, быстро потрясает
Звездами яркого венца:
Исчезла бледность их лица;
Их существо преобразилось;
Два чистых праведника, мнилось,
Тут ясным почивали сном,
Уж озаренные лучом
Святой денницы воскресенья;
И ангелом, для пробужденья
Их душ слетевшим с вышины,
Среди окрестной тишины
Сияла Пери над четою.
Но уж восток зажжен зарею,
И Пери, к небу свой полет
Направив, в дар ему несет
Сей вздох любви, себя забывшей
И до конца не изменившей.
Надежду все рождало в ней:
С улыбкой Ангел у дверей
Приемлет дар ее прекрасный;
Звенят в эдеме сладкогласно
Дерев кристальные звонки;
В лицо ей дышат ветерки
Амврозией от трона Аллы;
Ей видны звездные фиалы,
В которых, жизнь забыв свою,
Бессмертья первую струю
В эдеме души пьют святые...
Но все напрасно! роковые
Пред ней врата не отперлись.
Опять уныло: «Удались!
(Сказал ей страж крылатый рая)
Сей верной девы смерть святая
Записана на небесах;
И будут ангелы в слезах
Ее читать... но видишь, Пери,
Кристальные спокойны двери,
И светлый рай не отворен;
Не унывай, доступен он;
Лети на землю с упованьем».

Now upon SYRIA'S land of roses
Softly the light of Eve reposes,
And like a glory the broad sun
Hangs over sainted LEBANON,
Whose head in wintry grandeur towers
And whitens with eternal sleet,
While summer in a vale of flowers
Is sleeping rosy at his feet.

To one who looked from upper air
O'er all the enchanted regions there,
How beauteous must have been the glow,
The life, the sparkling from below!
Fair gardens, shining streams, with ranks
Of golden melons on their banks,
More golden where the sunlight falls; —
Gay lizards, glittering on the walls
Of ruined shrines, busy and bright
As they were all alive with light;
And yet more splendid numerous flocks
Of pigeons settling on the rocks
With their rich restless wings that gleam
Variously in the crimson beam
Of the warm West,—as if inlaid
With brilliants from the mine or made
Of tearless rainbows such as span
The unclouded skies of PERISTAN.
And then the mingling sounds that come,
Of shepherd's ancient reed, with hum
Of the wild bees of PALESTINE,
Banqueting thro' the flowery vales;
And, JORDAN, those sweet banks of thine
And woods so full of nightingales.

Сияла вечера сияньем
Отчизна розы Суристан,
И солнце, неба великан,
Сходя на запад, как корона,
Главу венчало Ливанона,
В великолепии снегов
Смотрящего из облаков,
Тогда как рдеющее лето
В долине, зносом разогретой,
У ног его роскошно спит.
О, сколь разнообразный вид
Красы, движенья и блистанья
Являл сей край очарованья,
С эфирной зримый высоты!
Леса, кудрявые кусты;
Потоков воды голубые;
Над ними дыни золотые,
В закатных рдеючи лучах
На изумрудных берегах;
Старинны храмы и гробницы;
Веселые веретеніцы,
На яркой стен их белизне
В багряном вечера огне
Сияющие чешуями;
Густыми голуби стадами
Слетающие с вышины
На озаренны крутизны;
Их веянье, их трепетанье,
Их переливное сиянье,
Как бы сотканное для них
Из радуг пламенно-живых
Безоблачного Персистана;
Святые воды Иордана;
Слиянный шум волны, листов
С далеким пеньем пастухов
И пчелы дикой Палестины,
Жужжащие среди долины,
Блестя звездами на цветах,—
Вид усладительный... но, ах!
Для бедной Пери нет услады.

But naught can charm the luckless PERI;
Her soul is sad—her wings are weary—
Joyless she sees the Sun look down
On that great Temple once his own,
Whose lonely columns stand sublime,
 Flinging their shadows from on high
Like dials which the wizard Time
 Had raised to count his ages by!

Yet haply there may lie concealed
 Beneath those Chambers of the Sun
Some amulet of gems, annealed
In upper fires, some tablet sealed
 With the great name of SOLOMON,
 Which spelled by her illumined eyes,
May teach her where beneath the moon,
In earth or ocean, lies the boon,
The charm, that can restore so soon
 An erring Spirit to the skies.

Cheered by this hope she bends her thither;—
 Still laughs the radiant eye of Heaven,
 Nor have the golden bowers of Even
In the rich West begun to wither;—
When o'er the vale of BALBEC winging
 Slowly she sees a child at play,
Among the rosy wild flowers singing,
 As rosy and as wild as they;
Chasing with eager hands and eyes
The beautiful blue damsel-flies,
That fluttered round the jasmine stems
Like winged flowers or flying gems:—

Рассеянны склонила взгляды,
Тоской души утомлена,
На падший солнцев храм она,
Вечерним солнцем озаренный;
Его столпы уединенны
В величии стояли там,
По окружающим полям
Огромной простираясь тенью:
Как будто время разрушенью
Коснуться запретило к ним,
Чтоб поколениям земным
Оставить о себе преданье.
И Пери в тайном упованье
К святым развалинам летит:
«Быть может, талисман сокрыт,
Из злата вылитый духами,
Под сими древними столпами,
Иль Соломонова печать,
Могущая нам отверзать
И бездны океана темны,
И все сокровища подземны,
И сверженным с небес духам
Опять к желанным небесам
Являть желанную дорогу».
И с трепетом она к порогу
Жилища солнцева идет.
Еще багряный вечер льет
Свое сиянье с небосклона
И ярко пальмы Ливанона
В роскошных светятся лучах...
Но что же вдруг в ее очах?
Долиной Баалбека ясной,
Как роза свежий и прекрасный,
Бежит младенец; озарен
Огнем заката, гнался он
За легкокрылой стрекозою,
Напрасно жадною рукою
Стараясь дотянуться к ней;
Среди ясминов и лилей
Она кружится непослушно

And near the boy, who tired with play
Now nestling mid the roses lay,
She saw a wearied man dismount
From his hot steed and on the brink
Of a small imaret's rustic fount
Impatient fling him down to drink.
Then swift his haggard brow he turned
To the fair child who fearless sat,
Tho' never yet hath day-beam burned
Upon a brow more fierce than that,—
Sullenly fierce—a mixture dire
Like thunder-clouds of gloom and fire;
In which the PERI'S eye could read
Dark tales of many a ruthless deed;
The ruined maid—the shrine profaned—
Oaths broken—and the threshold stained
With blood of guests!—*there* written, all,
Black as the damning drops that fall
From the denouncing Angel's pen,
Ere Mercy weeps them out again.
Yet tranquil now that man of crime
(As if the balmy evening time
Softened his spirit) looked and lay,
Watching the rosy infant's play:—
Tho' still whene'er his eye by chance
Fell on the boy's, its lurid glance
Met that unclouded, joyous gaze,
As torches that have burnt all night
Tho' some impure and godless rite,
Encounter morning's glorious rays.

But, hark! the vesper call to prayer,
As slow the orb of daylight sets,

И блещет, как цветок воздушный
Иль как порхающий рубин.
Устав, младенец под ямин
Прилег и в листьях угнезвился.
Тогда вблизи остановился
На жарко дышащем коне
Ездок, с лицом, как на огне
От зноя днёвного горевшим:
Над мелким ручейком, шумевшим
Близ имарета, он с коня
Спрыгнул и, на воды склоня
Лицо, студеных струй напился.
Тут взор его оборотился,
Из-под густых бровей блестя,
На безмятежное дитя,
Которое в цветах сидело,
И улыбалось, и глядело
Без робости на пришлеца,
Хотя толь страшного лица
Дотоле солнце не палило.
Свирепо-сумрачное, было
Подобно туче громовой
Оно своей ужасной мглой,
И яркими чертами совесть
На нем изобразила повесть
Страстей жестоких и злодейств:
Разбой, насильство, плач семейств,
Грабеж, святыни оскверненье,
Предательство, богохуленье —
Все написала жизнь на нем,
Как обвинительным пером
Неумолимый ангел мщенья
Записывает преступленья
Земные в книге роковой,
Чтоб после Милость их слезой
С погибельной страницы смыла.
Краса ли вечера смирила
В нем душу — но злодей стоял
Задумчив, и пред ним играл
Малютка тихо меж цветами;

Is rising sweetly on the air,
 From SYRIA'S thousand minarets!
 The boy has started from the bed
 Of flowers where he had laid his head,
 And down upon the fragrant sod
 Kneels with his forehead to the south
 Lispering the eternal name of God
 From Purity's own cherub mouth,
 And looking while his hands and eyes
 Are lifted to the glowing skies
 Like a stray babe of Paradise
 Just lighted on that flowery plain
 And seeking for its home again.
 Oh! 't was a sight—that Heaven—
that child—
 A scene, which might have well beguiled
 Even haughty EBLIS of a sigh
 For glories lost and peace gone by!

And how felt *he*, the wretched Man
 Reclining there—while memory ran
 O'er many a year of guilt and strife,
 Flew o'er the dark flood of his life
 Nor found one sunny resting-place,
 Nor brought him back one branch of grace.
 "There *was* a time," he said, in mild,
 Heart-humbled tones—"thou blessed child!
 "When young and haply pure as thou
 "I looked and prayed like thee—but now"—
 He hung his head—each nobler aim
 And hope and feeling which had slept
 From boyhood's hour that instant came
 Fresh o'er him and he wept—he wept!

И с яркими его очами,
Глубоко впадшими, порой
Встречались полные душой
Младенца голубые очи:
Так дымный факел, в мраке ночи
Разврата освещавший дом,
Порой встречается с лучом
Всевоскрешающей денницы.
Но солнце тихо за границы
Земли зашло... и в этот час
Вечерний минаретов глас,
К мольбе скликающий, раздался...
Младенец набожно поднялся
С цветов, колена преклонил,
На юг лицо оборотил
И с тихостью пред небесами
Самой невинности устами
Промолвил имя божества.
Его лицо, его слова,
Его смиренно сжаты руки...
Казалось, о конце разлуки
С эдемом радостным своим
Молился чистый херувим,
Земли на время поселенец.
О вид прелестный! Сей младенец,
Сии святые небеса...
И гордый Эвлис очеса
(Таким растроганным явленьем)
Склонил бы, вспомнив с умиленьем
О светлой рая красоте
И о погибшей чистоте.
А он?.. Отверженный, несчастный!
Перед невинностью прекрасной
Как осужденный он стоял...
Увы! он памятью летал
Над темной прошлого пучиной:
Там не встречался ни единый
Веселый берег, где б пристать
И где б отрадную сорвать
Надежде ветку примиренья;

Blest tears of soul-felt penitence!

In whose benign, redeeming flow
Is felt the first, the only sense

Of guiltless joy that guilt can know.

“There ’s a drop,” said the PERI, “that down
from the moon

“Falls thro’ the withering airs of June

“Upon EGYPT’S land, of so healing a power,

“So balmy a virtue, that even in the hour

“That drop descends contagion dies

“And health reanimates earth and skies!—

“Oh, is it not thus, thou man of sin,

“The precious tears of repentance fall?

“Tho’ foul thy fiery plagues within

“One heavenly drop hath dispelled them all!”

And now—behold him kneeling there

By the child’s side, in humble prayer,

While the same sunbeam shines upon

The guilty and the guiltless one,

And hymns of joy proclaim thro’ Heaven

The triumph of a Soul Forgiven!

’T was when the golden orb had set,
While on their knees they lingered yet,

There fell a light more lovely far

Than ever came from sun or star,

Upon the tear that, warm and meek,

Dewed that repentant sinner’s cheek.

To mortal eye this light might seem

A northern flash or meteor beam—

But well the enraptured PERI knew

Одни лишь грозные виденья
Носились в темной бездне той...
И грудь смягчилась тоской:
И он подумал: «Время было,
И я, как ты, младенец милый,
Был чист, на небеса смотрел,
Как ты, молиться им умел
И к мирной алтаря святыне
Спокойно подходил... а ныне?..»
И голову потупил он;
И все, что с давних тех времен
В душе ожесточенной спало,
Чем сердце юное живало
Во дни минувшей чистоты,
Надежды, радости, мечты —
Все вдруг пред ним возобновилось
И в душу, свежее, втеснилось;
И он заплакал... он во прах
Пред Богом пал в своих слезах.
О слезы покаянья! вами
Душа дружится с небесами;
И в тайный угрызенья час
Виновный знает только в вас
Невинности святое счастье.
И Пери в жалости, в участие,
Забыв себя и жребий свой,
С покорною о нем мольбой
Глаза на небо — светом ровным
Над непорочным и виновным
Сияющее — возвела;
Ее душа полна была
Неизъяснимым ожиданьем...
На хладном прахе с покаяньем
Пред Богом плачущий злодей
Лежал недвижим перед ней,
К земле приникнув головою;
И сострадательной рукою,
К несчастному преклонена,
Как нежная сестра, она
Поддерживала с умилением

'T was a bright smile the Angel threw
From Heaven's gate to hail that tear
Her harbinger of glory near!

"Joy, joy for ever! my task is done—
"The Gates are past and Heaven is won!
"Oh! am I not happy? I am, I am—
 "To thee, sweet Eden! how dark and sad
"Are the diamond turrets of SHADUKIAM,
 "And the fragrant bowers of AMBERABAD!

"Farewell ye odors of Earth that die
"Passing away like a lover's sigh;—
"My feast is now of the Tooba Tree
"Whose scent is the breath of Eternity!

"Farewell, ye vanishing flowers that shone
 "In my fairy wreath so bright and brief;—
"Oh! what are the brightest that e'er have blown
"To the lote-tree springing by ALLA'S throne
 "Whose flowers have a soul in every leaf.
"Joy, joy for ever.—my task is done—
"The Gates are past and Heaven is won!"



Главу, нагбенную смиреньем;
И быстро из его очей
В мирительную руку ей
Струя горячих слез бежала;
И на небе она искала
Ответа милости слезам...
И все прекрасно было там!
И были вечера светилы,
Как яркие паникадилы,
В небесном храме зажжены;
И мнилось ей: из глубины
Того незримого чертога,
Где чистым покаяньем Бога
Умеет сердце обретать,
К земле сходила благодать;
И там, казалось, ликовали:
Как будто ангелы летали
С веселой вестью по звездам;
Как будто праздновали там
Святую радость примиренья —
И вдруг, незапного стремленья
Могуществом увлечена,
Уже на высоте она;
Уже пред ней почти пропала
Земля; и Пери... угадала!
С потоком благодарных слез,
В последний раз с полунебес
На мир земной она возрела...
«Прости, земля!..» — и улетела.



ПЕСНЯ

Отымают наши радости
Без замены хладный свет;
Вдохновенье пылкой младости
Гаснет с чувством жертвой лет;
Не одно ланит пылание
Тратим с юностью живой –
Видим сердца увядание
Прежде юности самой.

Наше счастье разбитое
Видим мы игрушкой волн,
И в далекий мрак сердитое
Море мчит наш бедный челн;
Стрелки нет путеводительной,
Иль вотще ее магнит
В бурю к пристани спасительной
Челн беспарусный манит.

Хлад, как будто ускоренная
Смерть, заходит в душу к нам;
К наслажденью охлажденная,
Охладев к самим бедам,
Без стремленья, без желанья,
В нас душа заглушена
И навек очарования
Слез отрадных лишена.

На минуту ли улыбкою
Мертвый лик наш оживет,
Или *прежнее* ошибкою
В сердце сонное зайдет –
То обман; то плющ, играющий
По развалинам седым;

Though wit may flash from fluent lips, and mirth distract
the breast,
Through midnight hours that yield no more their former
hope of rest;
'T is but as ivy-leaves around the ruin'd turret wreath,
All green and wildly fresh without, but worn
and grey beneath.

Oh could I feel as I have felt,—or be what I have been,
Or weep as I could once have wept o'er many
a vanish'd scene;
As springs in deserts found seem sweet, all brackish
though they be,
So, midst the wither'd waste of life, those tears
would flow to me.



Сверху лист благоухающий –
Прах и тление под ним.

Оживите сердце вялое;
Дайте быть по старине;
Иль оплакивать бывалое
Слез бывалых дайте мне.
Сладко, сладко появление
Ручейка в пустой глуши;
Так и слезы – освежение
Запустевших души.



ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

Повесть

Замок Шильон — в котором с 1530 по 1537 заключен был знаменитый Бонивар, женеvский гражданин, мученик веры и патриотизма, — находится между Клараном и Вильнеvом: у самых восточных берегов Женеvского озера (Лемана). Из окон его видны, с одной стороны, устье Роны, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартиньи, снежные Валлизские горы и высокие утесы Мельери; а с другой — Монтре, Шателар, Кларан, Веvе, множество деревень и замков; пред ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж и Роль; а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до восьмисот французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием: где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу; на одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бониварова; а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытопанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей все по одному месту. Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женеvское озеро, недалеко от Вильнеvа, находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана; он неприметен, когда плывешь по озеру, но его можно легко различить из окон замка.

THE PRISONER OF CHILLON

I

My hair is grey, but not with years,
Nor grew it white
In a single night,
As men's have grown from sudden fears:
My limbs are bowed, though not with toil,
But rusted with a vile repose,
For they have been a dungeon's spoil,
And mine has been the fate of those
To whom the goodly earth and air
Are banned, and barred—forbidden fare;
But this was for my father's faith
I suffered chains and courted death;
That father perished at the stake
For tenets he would not forsake;
And for the same his lineal race
In darkness found a dwelling place;
We were seven—who now are one,
Six in youth, and one in age,
Finished as they had begun,
Proud of Persecution's rage;
One in fire, and two in field,
Their belief with blood have sealed,
Dying as their father died,
For the God their foes denied;—
Three were in a dungeon cast,
Of whom this wreck is left the last.

II

There are seven pillars of Gothic mould,
In Chillon's dungeons deep and old,
There are seven columns, massy and grey,
Dim with a dull imprisoned ray,
A sunbeam which hath lost its way,

I

Взгляните на меня: я сед;
Но не от хилости и лет;
Не страх незапный в ночь одну
До срока дал мне седину.
Я сторблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах,
И жизнь казалась без конца.
Удел несчастного отца:
За веру смерть и стыд цепей,
Уделом стал и сыновей.
Нас было шесть — пяти уж нет.
Отец, страдалец с юных лет,
Погибший старцем на костре,
Два брата, падшие во пре,
Отдав на жертву честь и кровь,
Спасли души своей любовь.
Три заживо схоронены
На дне тюремной глубины —
И двух сожрала глубина;
Лишь я, развалина одна,
Себе на горе уцелел,
Чтоб их оплакивать удел.

II

На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет,
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены

And through the crevice and the cleft
Of the thick wall is fallen and left;
Creeping o'er the floor so damp,
Like a marsh's meteor lamp:
And in each pillar there is a ring,
 And in each ring there is a chain;
That iron is a cankering thing,
 For in these limbs its teeth remain,
With marks that will not wear away,
Till I have done with this new day,
Which now is painful to these eyes,
Which have not seen the sun so rise
For years—I cannot count them o'er,
I lost their long and heavy score
When my last brother drooped and died,
And I lay living by his side.

III

They chained us each to a column stone,
And we were three—yet, each alone;
We could not move a single pace,
We could not see each other's face,
But with that pale and livid light
That made us strangers in our sight:
And thus together—yet apart,
Fettered in hand, but joined in heart,
'Twas still some solace in the dearth
Of the pure elements of earth,
To hearken to each other's speech,
And each turn comforter to each
With some new hope, or legend old,
Or song heroically bold;
But even these at length grew cold.

И заронившийся во мглу.
И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло-одинок,
Как над болотом огонек,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.
И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим с толь давних лет
Глядеть на радующий свет;
И к воле я душой остыл
С тех пор, как брат последний был
Убит неволей предо мной
И рядом с мертвым я, живой,
Терзался на полу тюрьмы.

III

Цепями теми были мы
К колоннам тем пригвождены,
Хоть вместе, но разлучены;
Мы шагу не могли ступить,
В глаза друг друга различить
Нам бледный мрак тюрьмы мешал.
Он нам лицо чужое дал —
И брат стал брату незнаком.
Была услада нам в одном:
Друг другу сердце пробуждать
Иль былью славной старины,
Иль звучной песнию войны —
Но скоро то же и одно
Во мгле тюрьмы истощено;
Наш голос страшно одичал;
Он хриплым отголоском стал

Our voices took a dreary tone,
An echo of the dungeon stone,
 A grating sound, not full and free,
 As they of yore were wont to be:
 It might be fancy—but to me
They never sounded like our own.

IV

I was the eldest of the three,
 And to uphold and cheer the rest
 I ought to do—and did my best—
And each did well in his degree.
 The youngest, whom my father loved,
Because our mother's brow was given
To him, with eyes as blue as heaven—
 For him my soul was sorely moved:
And truly might it be distressed
To see such bird in such a nest;
For he was beautiful as day—
 (When day was beautiful to me
 As to young eagles, being free)—
 A polar day, which will not see
A sunset till its summer's gone,
 Its sleepless summer of long light,
The snow-clad offspring of the sun:
 And thus he was as pure and bright,
And in his natural spirit gay,
With tears for nought but others' ills,
And then they flowed like mountain rills,
Unless he could assuage the woe
Which he abhorred to view below.

↪

V

The other was as pure of mind,
But formed to combat with his kind;
Strong in his frame, and of a mood

Глухой тюремная стены;
Он не был звуком старины,
В те дни, подобно нам самим,
Могучим, вольным и живым.
Мечта ль?.. но голос их и мой
Всегда звучал мне как чужой.

IV

Из нас троих я старший был;
Я жребий собственный забыл,
Дыша заботою одной,
Чтоб им не дать упасть душой.
Наш младший брат, любовь отца...
Увы! черты его лица
И глаз умильная краса,
Лазоревых как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне всё, и увядать
При мне был должен милый цвет,
Прекрасный, как тот дневный свет,
Который с неба мне светил,
В котором я на воле жил.
Как утро, был он чист и жив:
Умом младенчески игрив,
Беспечно весел сам с собой...
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы, как ручей.

V

Другой был столь же чист душой;
Но дух имел он боевой:
Могуч и крепок в цвете лет,

Which 'gainst the world in war had stood,
And perished in the foremost rank
 With joy: — but not in chains to pine:
His spirit withered with their clank,
 I saw it silently decline —
 And so perchance in sooth did mine:
But yet I forced it on to cheer
Those relics of a home so dear.
He was a hunter of the hills,
 Had followed there the deer and wolf
 To him this dungeon was a gulf,
And fettered feet the worst of ills.

VI

Lake Lemán lies by Chillon's walls:
A thousand feet in depth below
Its massy waters meet and flow;
Thus much the fathom-line was sent
From Chillon's snow-white battlement,
 Which round about the wave intralls:
A double dungeon wall and wave
Have made — and like a living grave.
Below the surface of the lake
The dark vault lies wherein we lay:
We heard it ripple night and day;
 Sounding o'er our heads it knocked:
And I have felt the winter's spray
Wash through the bars when winds were high
And wanton in the happy sky;
 And then the very rock hath rocked,
 And I have felt it shake, unshocked,
Because I could have smiled to see
The death that would have set me free.

Рад вызвать к битве целый свет
И в первый ряд на смерть готов...
Но без терпенья для оков.
И он от звука их завял.
Я чувствовал, как погибал,
Как медленно в печали гас
Наш брат, незримый нам, близ нас.
Он был стрелок, жилец холмов,
Гонитель вепрей и волков —
И гроб тюрьма ему была;
Неволи сила не снесла.

VI

Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,
Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него биющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось — бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось — вихорь бушевал
И содрогалася скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас;
Свободой был бы смертный час.

VII

I said my nearer brother pined,
I said his mighty heart declined,
He loathed and put away his food;
It was not that 'twas coarse and rude,
For we were used to hunter's fare,
And for the like had little care:
The milk drawn from the mountain goat
Was changed for water from the moat,
Our bread was such as captives' tears
Have moistened many a thousand years,
Since man first pent his fellow men
Like brutes within an iron den;
But what were these to us or him?
These wasted not his heart or limb;
My brother's soul was of that mould
Which in a palace had grown cold,
Had his free breathing been denied
The range of the steep mountain's side;
But why delay the truth?—he died.
I saw, and could not hold his head,
Nor reach his dying hand—nor dead,—
Though hard I strove, but strove in vain,
To rend and gnash my bonds in twain.
He died—and they unlocked his chain,
And scooped for him a shallow grave
Even from the cold earth of our cave.
I begged them, as a boon, to lay
His corse in dust whereon the day
Might shine—it was a foolish thought,
But then within my brain it wrought,
That even in death his freeborn breast
In such a dungeon could not rest.

VII

Середний брат наш — я сказал —
Душой скорбел и увядал.
Уныл, угрюм, ожесточен,
От пищи отказался он:
Еда тюремная жестка;
Но для могучего стрелка
Нужду переносить легко.
Нам коз альпийских молоко
Сменила смрадная вода;
А хлеб наш был, какой всегда —
С тех пор как цепи созданы —
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях.
Не от нужды скорбел и чах
Мой брат: равно завял бы он,
Когда б и негой окружен
Без воли был... Зачем молчать?
Он умер... я ж ему подать
Руки не мог в последний час,
Не мог закрыть потухших глаз;
Вотще я цепи грыз и рвал —
Со мною рядом умирал
И умер брат мой, одинок;
Я близко был и был далек.
Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал,
Как вздрагивал в цепях своих
И как ужасно вдруг затих
Во глубине тюремной мглы...
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли
В холодном лоне той земли,
На коей он невольник был.
Вотще я их в слезах молил,
Чтоб брату там могилу дать,
Где мог бы дневный луч сиять;
То мысль безумная была,
Но душу мне она зажгла:

I might have spared my idle prayer —
They coldly laughed—and laid him there:
The flat and turfless earth above
The being we so much did love;
His empty chain above it leant,
Such Murder's fitting monument!

VIII

But he, the favourite and the flower,
Most cherished since his natal hour,
His mother's image in fair face,
The infant love of all his race,
His martyred father's dearest thought,
My latest care, for whom I sought
To hoard my life, that his might be
Less wretched now, and one day free;
He, too, who yet had held untired
A spirit natural or inspired—
He, too, was struck, and day by day
Was withered on the stalk away.
Oh, God! it is a fearful thing
To see the human soul take wing
In any shape, in any mood:
I've seen it rushing forth in blood,
I've seen it on the breaking ocean
Strive with a swoln convulsive motion,
I've seen the sick and ghastly bed
Of Sin delirious with its dread:
But these were horrors—this was woe
Unmixed with such—but sure and slow:
He faded, and so calm and meek,
So softly worn, so sweetly weak,
So tearless, yet so tender—kind,
And grieved for those he left behind;
With all the while a cheek whose bloom

Чтоб волен был хоть в гробе он.
«В темнице (мнил я) мертвых сон
Не тих...» Но был ответ слезам
Холодный смех; и брат мой там,
В сырой земле тюрьмы, зарыт,
И в головах его висит
Пук им оставленных цепей:
Убийц достойный мавзолей.

VIII

Но он — наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он — образ матери душой
И чистой прелестью лица,
Мечта любимая отца,
Он — для кого я жизнь щадил:
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть...
Увы! он долго мог сносить
С младенческой тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему — он для меня
Подпорой был... вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.
О Боже! Боже! страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека... я видал,
Как ратник в битве погибал;
Я видел, как пловец тонул
С доской, к которой он прильнул
С надеждой гибнущей своей;
Я зрел, как издыхал злодей
С свирепой дикостью в чертах,
С богохуленьем на устах,
Пока их смерть не заперла:
Но там был страх — здесь скорбь была,
Болезнь глубокая души.

Was as a mockery of the tomb,
Whose tints as gently sunk away
As a departing rainbow's ray;
An eye of most transparent light,
That almost made the dungeon bright;
And not a word of murmur — not
A groan o'er his untimely lot,—
A little talk of better days,
A little hope my own to raise,
For I was sunk in silence — lost
In this last loss, of all the most;
And then the sighs he would suppress
Of fainting Nature's feebleness,
More slowly drawn, grew less and less:
I listened, but I could not hear;
I called, for I was wild with fear;
I knew 'twas hopeless, but my dread
Would not be thus admonishéd;
I called, and thought I heard a sound —
I burst my chain with one strong bound,
And rushed to him: — I found him not,
I only stirred in this black spot,
I only lived, *I* only drew
The accursed breath of dungeon-dew;
The last, the sole, the dearest link
Between me and the eternal brink,
Which bound me to my failing race,
Was broken in this fatal place.
One on the earth, and one beneath —
My brothers — both had ceased to breathe:
I took that hand which lay so still,
Alas! my own was full as chill;
I had not strength to stir, or strive,

Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах;
Ни вздоха скорби на устах;
Ни ропота на жребий свой;
Лишь слово изредка со мной
О наших прошлых временах,
О лучших будущего днях,
О упованье... но, объят
Сей тратой, горшею из трат,
Я был в свирепом забытьи.
Вотще, кончаясь, он свои
Терзанья смертные скрывал...
Вдруг реже, трепетнее стал
Дышать, и вдруг умолкнул он...
Молчаньем страшным пробужден,
Я вслушиваюсь... тишина!
Кричу как бешеный... стена
Откликнулась... и умер гул!
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал... к брату... брата нет!
Он на столбе — как вешний цвет,
Убитый хладом, — предо мной
Висел с поникшей головой.
Я руку тихую поднял;
Я чувствовал, как исчезал
В ней след последней теплоты;
И, мнилось, были отняты
Все силы у души моей;
Все страшно вдруг сперло́ся в ней;
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был:
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой;
И, взор на мертвого вперив,

But felt that I was still alive—
A frantic feeling, when we know
That what we love shall ne'er be so.
 I know not why,
 I could not die,
I had no earthly hope—but faith,
And that forbade a selfish death.

IX

What next befell me then and there
 I know not well—I never knew—
First came the loss of light, and air,
 And then of darkness too:
I had no thought, no feeling—none—
Among the stones I stood a stone,
And was, scarce conscious what I wist,
As shrubless crags within the mist;
For all was blank, and bleak, and grey;
It was not night—it was not day;
It was not even the dungeon-light,
So hateful to my heavy sight,
But vacancy absorbing space,
And fixedness—without a place;
There were no stars—no earth—no time—
No check—no change—no good—no crime—
But silence, and a stirless breath
Which neither was of life nor death;
A sea of stagnant idleness,
Blind, boundless, mute, and motionless!

X

A light broke in upon my brain,—
 It was the carol of a bird;
It ceased, and then it came again,
 The sweetest song ear ever heard,

Я знал лишь смутно, что я жив.
О! сколько муки в знанье том,
Когда мы тут же узнаем,
Что милому уже не быть,
И миг сей мог я пережить!
Не знаю — вера ль то была,
Иль хладность к жизни жизнь спасла?

IX

Но что потом сбылось со мной,
Не помню... свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в мутную слилось тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

X

Вдруг луч незапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось, с неба он летел;

And mine was thankful till my eyes
Ran over with the glad surprise,
And they that moment could not see
I was the mate of misery;
But then by dull degrees came back
My senses to their wonted track,
I saw the dungeon walls and floor
Close slowly round me as before,
I saw the glimmer of the sun
Creeping as it before had done,
But through the crevice where it came
That bird was perched, as fond and tame,
 And tamer than upon the tree;
A lovely bird, with azure wings,
And song that said a thousand things,
 And seemed to say them all for me!
I never saw its like before,
I ne'er shall see its likeness more:
It seemed like me to want a mate,
But was not half so desolate,
And it was come to love me when
None lived to love me so again,
And cheering from my dungeon's brink,
Had brought me back to feel and think.
I know not if it late were free,
 Or broke its cage to perch on mine,
But knowing well captivity,
 Sweet bird! I could not wish for thine!
Or if it were, in wingéd guise,
A visitant from Paradise;
For—Heaven forgive that thought! the while
 Which made me both to weep and smile—
I sometimes deemed that it might be
My brother's soul come down to me;
But then at last away it flew,
And then 'twas mortal well I knew,
For he would never thus have flown—
And left me twice so doubly lone,—
Lone—as the corse within its shroud,

И был утешно-сладок он.
Им очарован, оживлен,
Заслушавшись, забылся я;
Но ненадолго... мысль моя
Стезей привычную пошла;
И я очнулся... и была
Опять передо мной тюрьма,
Молчанье то же, та же тьма;
Как прежде, бледною струей
Прокрадывался луч дневной
В стенную скважину ко мне...
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был;
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днем;
Он пел приветно надо мной...
Как много было в песни той!
И все то было про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел;
Как я, казалось, он скорбел
О брате и покинут был;
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим;
И в сладость песнь его была:
Душа невольно ожила.
Но кто ж он сам был, мой певец?
Свободный ли небес жилец?
Или, недавно из цепей,
По случаю к тюрьме моей,
Играя в небе, залетел
И о свободе мне пропел?
Скажу ль?.. Мне думалось порой,
Что у меня был не земной,
А райский гость; что братний дух
Порадовать мой взор и слух
Примчался птичкою с небес...
Но утешитель вдруг исчез;

Lone—as a solitary cloud,
 A single cloud on a sunny day,
While all the rest of heaven is clear,
A frown upon the atmosphere,
That hath no business to appear
 When skies are blue, and earth is gay.

XI

A kind of change came in my fate,
My keepers grew compassionate;
I know not what had made them so,
They were inured to sights of woe,
But so it was:—my broken chain
With links unfastened did remain,
And it was liberty to stride
Along my cell from side to side,
And up and down, and then athwart,
And tread it over every part;
And round the pillars one by one,
Returning where my walk begun,
Avoiding only, as I trod,
My brothers' graves without a sod;
For if I thought with heedless tread
My step profaned their lowly bed,
My breath came gaspingly and thick,
And my crushed heart felt blind and sick.

XII

I made a footing in the wall,
 It was not therefrom to escape,
For I had buried one and all,
 Who loved me in a human shape;
And the whole earth would henceforth be
A wider prison unto me:
No child—no sire—no kin had I,
No partner in my misery;

Он улетел в сиянье дня...
Нет, нет, то не был брат... меня
Покинуть так не мог бы он,
Чтоб я, с ним дважды разлучен,
Остался вдвое одинок,
Как труп меж гробовых досок.

XI

Вдруг новое в судьбе моей;
К душе тюремных сторожей
Как будто жалость путь нашла;
Дотоле их душа была
Бесчувственной желез моих;
И что разжалобило их,
Что милость вымолило мне,
Не знаю... но опять к стене
Уже прикован не был я;
Оборванная цепь моя
На шее билася моей;
И по тюрьме я вместе с ней
Вдоль стен, кругом столбов бродил,
Не смея братних лишь могил
Дотронуться моей ногой,
Чтобы последняя земной
Святыни там не оскорбить.

XII

И мне оковами прорыть
Ступени удалось в стене;
Но воля не входила мне
И в мысли... я был сирота,
Мир стал чужой мне, жизнь пуста,
С тюрьмой я жизнь сдружил мою:
В тюрьме я всю свою семью,
Все, что знавал, все, что любил,
Невозвратно схоронил,
И в области веселой дня

I thought of this, and I was glad,
For thought of them had made me mad;
But I was curious to ascend
To my barred windows, and to bend
Once more, upon the mountains high,
The quiet of a loving eye.

XIII

I saw them—and they were the same,
,They were not changed like me in frame;
I saw their thousand years of snow
On high—their wide long lake below,
And the blue Rhone in fullest flow;
I heard the torrents leap and gush
O'er channelled rock and broken bush;
I saw the white-walled distant town,
And whiter sails go skimming down;
And then there was a little isle,
Which in my very face did smile,
 The only one in view;
A small green isle, it seemed no more,
Scarce broader than my dungeon floor,
But in it there were three tall trees,
And o'er it blew the mountain breeze,
And by it there were waters flowing,
And on it there were young flowers growing,
 Of gentle breath and hue.
The fish swam by the castle wall,
And they seemed joyous each and all;

Никто уж не жил для меня;
Без места на пиру земном,
Я был бы лишний гость на нем,
Как облако, при ясном дне
Потерянное в вышине
И в радостных его лучах
Ненужное на небесах...
Но мне хотелось бросить взор
На красоту знакомых гор,
На их утесы, их леса,
На близкие к ним небеса.

XIII

Я их увидел — и оне
Всё были те ж: на вышине
Веков создание — снега,
Под ними Альпы и луга,
И бездна озера у ног,
И Роны блещущий поток
Между зеленых берегов;
И слышен был мне шум ручьев,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел,
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль берегов...
И я приметил островок:
Прекрасен, свеж, но одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем;
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивались нежней
Кругом родных берегов оне.
И видел я: к моей стене
Челнок с пловцами приставал,

The eagle rode the rising blast,
Methought he never flew so fast
As then to me he seemed to fly;
And then new tears came in my eye,
And I felt troubled—and would fain
I had not left my recent chain;
And when I did descend again,
The darkness of my dim abode
Fell on me as a heavy load;
It was as is a new-dug grave,
Closing o'er one we sought to save,—
And yet my glance, too much opprest,
Had almost need of such a rest.

XIV

It might be months, or years, or days—
 I kept no count, I took no note—
I had no hope my eyes to raise,
 And clear them of their dreary mote;
At last men came to set me free;
 I asked not why, and recked not where;
It was at length the same to me,
Fettered or fetterless to be,
 I learned to love despair.
And thus when they appeared at last,
And all my bonds aside were cast,
These heavy walls to me had grown,
A hermitage—and all my own!
And half I felt as they were come
To tear me from a second home:
With spiders I had friendship made,
And watched them in their sullen trade
Had seen the mice by moonlight play,

Гостил у берега, отплывал
И, при свободном ветерке
Летя, скрывался вдалеке;
И в облаках орел играл,
И никогда я не видал
Его столь быстрым — то к окну
Спускался он, то в вышину
Взлетал — за ним душа рвалась;
И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь... мне стало жаль
Моих покинутых цепей.
Когда ж на дно тюрьмы моей
Опять сойти я должен был —
Меня, казалось, обхватил
Холодный гроб; казалось, вновь
Моя последняя любовь,
Мой милый брат передо мной
Был взят несытою землей;
Но как ни тяжело ныла грудь —
Чтоб от страданья отдохнуть,
Мне мрак тюрьмы отрадой был.

XIV

День приходил — день уходил —
Шли годы — я их не считал;
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земли.
И люди наконец пришли
Мне волю бедную отдать.
За что и как? О том узнать
И не помыслил я — давно
Считать привык я за одно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там все друг,

And why should I feel less than they?
We were all inmates of one place,
And I, the monarch of each race,
Had power to kill—yet, strange to tell!
In quiet we had learned to dwell;
My very chains and I grew friends,
So much a long communion tends
To make us what we are:—even I
Regained my freedom with a sigh.



Все однодomeц было мой:
Паук темничный надо мной
Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы!..
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.



Комментарии





Джон Мильтон
1608 – 1674

Крупнейший европейский поэт XVII в. и видный общественный деятель периода английской революции; создатель монументальных эпических поэм «Потерянный рай» (*Paradise Lost*, 1667) и «Возвращенный рай» (*Paradise Regain'd*, 1671).

Первый полный прозаический перевод поэмы Мильтона – «Погубленный рай через Иоанна Мильтона героической поемой представленный: с французского на российский язык переведенный (...) бароном Александром Григорьевичем Строгоновым; в Москве лета 1745» – остался в списках.

В 1777 г. был опубликован прозаический перевод с английского первых трех книг поэмы, сделанный В. П. Петровым, переводчиком «Энеиды» Вергилия.

Полный прозаический перевод с французского, сделанный архиепископом екатеринославским Амвросием (Серебренниковым), вышел в свет в 1780 г.

На протяжении XIX в. к эпической поэме Мильтона обращались многие русские поэты и переводчики. Так, Н. И. Гнедич в 1805 г. перевел отрывок о слепоте из Книги III «Потерянного рая». В 1831 г. в «Московском телеграфе» (ч. 37, № 1, с. 35–36) М. П. Вронченко, популярный переводчик того времени, публикует «Начало первой песни Мильтоновой поэмы» (ниже мы приводим лишь тот отрывок, который соответствует переводу Жуковского):

Начальную ослушность человека
И заповедный, им вкушенный плод,
Смерть внесший в мир и бедствия, и Рая
Утрату, вновь дарованного мощным
Ходатая великого посредством,

Воспой, божественная Муза, ты,
 Чьим вдохновеньем на вершине тайной
 Хорива иль Синая, древле Пастырь
 Избранным пел восстанье из Хаоса
 Земли и Неба, иль, когда Сион
 Ты любишь более, и Силуамский ток,
 У прорицалищ текший Бога, к песни
 Тебя оттолъ зову я смелой; выше
 Аонских скал взнестись она стремится,
 Зане гласит не петое доньше,
 Ни речью мерной, ни простой, сказанье!

.....

зане и Ад и Небо

Твой взор от века зрит

.....

Свет мне в темном

Пошли, восстанье и подпору в низком...

Любопытно, что и Мильтон проявлял интерес к России и даже написал «Краткую историю Московии» (*Brief History of Moscovia*, 1682), которая появилась в русском переводе в 1875 г.

Конспектируя труды по истории литературы (в частности, Вольтера, Х. Блера, Баттё), Жуковский суммирует их суждения о Мильтоне, подчас сопровождая их собственными примечаниями: «NB. Сатана Мильтонов есть разительный характер его Потерянного рая, но не он возбуждает сильнейший интерес, не ему желают успеха; напротив Адам и Ева, против которых он вооружается, привлекают все сожаление и любовь читателя, следовательно, заставляют его желать, чтобы все козни Сатаны были разрушены. И в том-то и состоит неудовлетворительность развязки Потерянного рая, что в нем торжествует та сторона, которая противна читателю, и гибнет та, которой он желает торжествовать. Конец эпической поэмы, кажется мне, должен быть всегда счастлив, то есть в ней должен торжествовать тот, кто интересуется более читателя и кто, следовательно, достойнее торжества» (А. С. Я н у ш к е в и ч. В. А. Жуковский – читатель и переводчик «Потерянного рая» Дж. Мильтона // Библиотека Жуковского в Томске, ч. II. Томск, 1984, с. 483).

В период работы над переводом «Мессиады» Клопштока (1812 – 1814 гг.) Жуковский нередко обращается и к эпической поэме Мильтона: «Какое богатство новых описаний, сравнений, картин и мыслей в Клопштоке и Мильтоне!» («О поэзии древних и новых»,

Вестник Европы, 1811). В бумагах Жуковского остались записи этого периода с указаниями «что сочинить и перевести», в которых значится: «Эпическая поэма. Отрывки из Мессиады и Мильтона»; «Перевести. Из Гесснера. Юнга. Гервея. Мильтона. Клопштока. Клейста» (А. С. Я н у ш к е в и ч. Ук. соч., с. 483). Но и значительно позднее Мильтон соседствует с Клопштоком в творческом сознании Жуковского: «Самые привлекательные характеры (то есть поэтически привлекательные) в поэзии суть те, которые наиболее возбуждают чувство меланхолическое: Сатана в Мильтоновом «Раю», Аббадона у Клопштока <...> Самый меланхолический образ представляет нам Сатана. Он пал произвольно; он все отверг по гордости; он все отрицает, *зная наверно*, что отрицаемое им есть истина. Итак, божественное ему ведомо, и оно было его собственностью, и он, зная его, произвольно свое знание отрицает... неверие с ясным убеждением, что предмет его есть верховная истина и что эта истина есть верховное благо, – что может быть ужаснее такого состояния души и в то же время что грустнее, когда представишь себе, что сей произвольный отрицатель был некогда светлый ангел?» (Из письма к П. А. Вяземскому от 3 марта 1846 г.)

Об интересе Жуковского к Мильтону свидетельствует в числе прочего и обилие изданий английского поэта в библиотеке Жуковского, причем и в оригинале, и во французских и немецких переводах. На форзаце немецкого издания и был помещен план возможных переводов, где Мильтон значится на первом месте (см. наст. изд., с. 13).

«ГРЕХОПАДЕНИЕ, ПЛОД ЗАПРЕЩЕННЫЙ...». – Датируется предположительно концом 1836 – началом 1837 г. Автограф, обнаруженный томскими исследователями библиотеки Жуковского, был вписан во французское издание «Потерянного рая» Мильтона в переводе Шатобриана (опубл. в 1836 г.). Перевод этот стал явлением литературной жизни не только во Франции, но и в России, о чем, в частности, свидетельствует статья Пушкина «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая”» (конец 1836 – начало 1837 г.).

Возможно, именно пушкинская статья, которую после смерти поэта Жуковский готовил для пятого тома «Современника», и в частности высказанная в ней мысль о недопустимости буквального перевода («Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона *слово в слово*, Шатобриан однако не мог соблюсти в своем преложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные ритори-

ческие фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами» – А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. М.–Л., 1937 – 1959, т. XII, с. 144), и подтолкнула Жуковского к попытке поэтического переложения поэмы Мильтона. Причем Жуковский, вероятнее всего, размышлял о продолжении работы. Цифровые пометы, оставленные им на том же издании, указывают, что он скрупулезно подсчитал количество стихов в каждой песне, а также общее количество стихов поэмы – 10 510.

При переводе Жуковский мог пользоваться и французским текстом, и оригиналом, так как перевод Шатобриана сопровождался параллельным английским текстом.

Жуковский перевел начальные 17 стихов поэмы плюс еще 2 стиха, первый из которых соответствует первой строке третьей строфы поэмы Мильтона, а второй – шестой и седьмой строкам второй строфы.

Опубликованный нами текст очищен от зачеркиваний и исправлений (см. этапы работы над текстом Жуковского и его оригинальный вид в статье: А. С. Янушкевич. Ук. соч., с. 485-490).

Джон Драйден (1631 – 1700)

Поэт, драматург, критик, один из основоположников классицизма в Англии. Известен в России со второй половины XVIII в.: впервые упомянут («Дриден, который прославился во всех родах стихотворства...») в статье «О стихотворстве», опубликованной анонимно в журнале «Полезное увеселение», 1762, июнь, с. 231 – 234 (авторство статьи приписывается С. Г. Домашневу).

В библиотеке Жуковского был перевод «Энеиды» Вергилия, сделанный Драйденом в 1697 г.; об этом переводе, сравнивая его с гомеровскими поэмами в переводе А. Попа, Жуковский писал в статье «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов»: «Драйден перевод Вергилия слабее, но он знакомит нас с Вергилием гораздо короче, нежели все те, которые переводили сего стихотворца в прозе, по крайней мере, мы видим поэта, выражающего мысли другого поэта» (цит. по: В. А. Жуковск и й. Эстетика и критика. М., 1985, с. 284).

ПИРШЕСТВО АЛЕКСАНДРА, ИЛИ СИЛА ГАРМОНИИ. – Написано в 1812 г.; впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1813,

№ 7–8, с. 204–208. Перевод оды Драйдена, написанной в 1697 г. и приуроченной ко дню св. Цецилии (22 ноября), покровительницы музыкантов. Жуковский считал этот перевод своей удачей: в апреле 1814 г. он пишет А. И. Тургеневу: «...на следующей почте пришлю тебе свои переписанные творения. Прошу тебя и компанию добрых критиков – именно Уварова и Дашкова – переглядеть их и то, что нужно будет выбросить, выбросить без сожаления. Пощади только *Пиршество Александра*. Что ни бредит Воейков, а этот перевод хорош» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 114). Позднее, в ноябре того же года, Жуковский снова обращается к этой оде: «А γρορος. У меня бродит в голове мысль, что, если б 25-го декабря было бы для нас то же, что для англичан день святой Сесилии, чтобы непременно каждый год была сочинена ода на этот день и положена на музыку? Почему не быть у нас Дрейденам, Попам и Конгревам?» (там же, с. 127). Вероятно, в том же году в библиотеке Жуковского появилось трехтомное собрание сочинений Драйдена (*The Poetical Works of John Dryden*, vol. 1–3, Lnd., s.a.), имеющее надписи: «1814, 1 de Janvier» и «Basile de Joukofsky».

В основу оды Драйдена положен эпизод, почерпнутый им из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха («Александр», XXXVII) – пир в Персеполе, в царском дворце после победы в 330 г. до н. э. Александра Македонского (356–323 до н. э.) над персидским царем Дарием III (правл. 336–330 до н. э.).

Ода Драйдена была популярна в России; до Жуковского переводилась трижды, в том числе А. Ф. Мерзляковым и А. Х. Востоковым; с переводом последнего Жуковский был не только знаком, но и изучал его критически: в библиотеке поэта сохранился экземпляр книги А. Востокова «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», ч. I, СПб., 1806, куда вошел и перевод оды Драйдена, причем на полях перевода сделаны пометки рукой Жуковского (см.: Библиотека В. А. Жуковского, ч. I, 1978, с. 19). О первых переводах в России Драйдена, Попа, Томсона, Маллета, Грея, Голдсмита см. подробнее: Ю. Д. Левин и н. Английская поэзия XVII–XVIII вв. в русских переводах. 1745–1813. (Материалы для библиографии). – В сб.: От классицизма к романтизму. Л., 1970, с. 269–297.

Ниже приводим две первые строфы кантаты Драйдена в переводе А. Х. Востокова, позволяющие нагляднее осмыслить вклад Жуковского в развитие русской поэзии:

ПИР АЛЕКСАНДРА, ИЛИ МОГУЩЕСТВО МУЗЫКИ

*Драйденова кантата**на день свят. Цецилии, изобретательницы органов*

I.

В тот царский громкий день когда Филиппов сын
Низверг Персеполь в прах,
Во славе видим был Ирой богоподобный,
Судеб, народов властелин,
Седящ на троне, пиршества в лучах;
Вокруг его священный страх.
Стесненный сонм вождей облег ступени трона,
Все в розовых и миртовых венках,
(Сей льготы требуют победоносцев чéла);
По сторону Царя
Таиса милая сидела,
В расцветшей младости как нежная заря,
И тысячью приятств владела.

О блаженная чета!
Ироя одного достойна красота!

ХОР

*О блаженная чета!
Ироя одного,
Его, его, сия достойна красота!*

II.

Выходит на среду певец,
Всего гремяща хора вождь.
Уже слегка перстом перебирает струны,
Вдруг воскриляются симфонии перуны
И грудь восторгом дмят.

От Зевса начал песнь певец,
Оставльшего свое небесное селенье,
(Толико мощно есть любви влеченье)
Пламенордяного приемь дракона вид.
Отец богов свое парение стремится
К Олимпиаде благолепной.

Приник на лебедину грудь,
 Сугубо обвивает
 Ея прекрасный стан,
 С любовью впечатлеват
 Подобие свое – Второго по себе
 Царя вселенной.

Весь в упоении сонм от дивной песни.
 Се бог! мы бога зрим! мятежный шум возник,
 И паки: се наш бог! раздался громкий зык.
 Царь же склоняет
 Гордо слух.
 Чит себя богом,
 Главой помавает,
 И мнит что мир поколебал.

ХОР.

*Гордым ухом
 Царь внимает.
 Чит себя богом,
 Главой помавает,
 И мнит что мир поколебал.*

Philip's warlike son – Александр был сыном царя Македонии Филиппа (382–336 до н. э.); однако ниже содержится намек на легенду, утверждавшую, будто отцом Александра был Зевс, который, влюбившись в Олимпиаду, жену Филиппа, принял облик змея и провел с нею ночь.

Timotheus – Тимотей, музыкант из Беотии, любимец Александра.

Lydian measures – лидийский лад, звукоряд в античной музыке, отличающийся от нашего мажора четвертой повышенной ступенью. Считался мягким, нежным, дорийский же – мужественным.

Now strike the golden lyre² again... / To the valiant crew – Приведем для сравнения этот же отрывок в переводе А. Ф. Мерзлякова, известном Жуковскому:

Раздайся, лиры звук, промчись!
 Сильней, еще сильней, как бурный вихрь, крутись!

Прерви ничтожны сна оковы! –
Восстань! восстань, Герой, на подвиг славы новый!
И се в ужасный час
Он внемлет грома глас!
Как из могилы вдруг
Восстал и зрит вокруг! –

*

Отмсти, отмсти, отмсти! повсюду вопиют. –
Фурии грозны бегут!
Над тобою их змеи висят!
И свистят, и шипят,
И черное пламя рекою клубят!

*

Зри: тени бледны в облаках! –
Перуны в их руках! –
Кто вы? Не души ли героев убиенных
На поле битвы злой?..
Там трупы их забвенны
Лежат в крови густой
И просят погребенья! –
Я слышу странный глас:
Мщенья! мщенья! мщенья! –
Возьмите стыд от нас!

(«Торжество Александрово, или Сила Музыки. Кантата Драйдена в честь Святой Цецилии, переложенная с наблюдением меры подлинника» – «Вестник Европы», 1806, № 4, с. 277–278.)

Thais led the way... fir'd another Troy – По легенде, именно афинская гетера Таис, сопровождавшая Александра в походе, подала мысль поджечь дворец Дария.

Cecilia... Inventress of the vocal frame – Св. Цецилия считалась изобретательницей органа.

Александр Поп
(1688 – 1744)

Поэт, крупнейший представитель классицизма в Англии. Перевел «Илиаду» и «Одиссею», «облагораживая» текст в духе классицизма. Поп был весьма популярен в России в середине XVIII в. Первый перевод (с французского) его ироикомиической поэмы «Похищение локона» (*The Rape of the Lock*, 1714) был сделан в 1749 г., однако остался неопубликованным – «Букля власов похищенных. Поема героикомиическая господина Попа. Переведена на русский через Ш.» [И. В. Шишкина]. Еще один прозаический перевод с французского (Похищенный локон волосов. Поэма героическая г. Попе, сочиненная на аглинском языке. Переведена с французского в 1748 году. М., 1761) был опубликован лишь через 13 лет после написания. А первый перевод одного из важнейших его произведений – поэмы «Опыт о человеке» (*Essay on Man*, 1733–1734) – появился в переводе с французского Н. Поповского в 1757 г.

В библиотеке Жуковского Поп был представлен только переводами Гомера, причем отношение к ним русского поэта с годами менялось. В статье 1810 г. «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов» Жуковский пишет: «Тем, которые утверждают, что лучший перевод в стихах обезображивает оригинал и ослабляет его красоты, я укажу на Гомера, переведенного Попом. Многие, знающие греческий язык, утверждают, что английская «Илиада» нравится им более греческой». В том же году в письме к А. И. Тургеневу от 12 сентября Жуковский дает более пространную характеристику перевода Попа: «Не соглашаюсь, однако, чтобы Фоссов перевод был лучше Пóпова; может быть, в первом найдешь более истинного Гомерова духу и греческой простоты, но он сух, и чувствительно, что немец Фосс из всей силы хотел быть греком. Поп растянут и иногда очень удаляется от Гомерова духа, особливо когда дело дойдет до богов, говоря о которых он вмешивает такие выражения, которые более приличны новейшим метафизикам; зато язык его стихотворнее. Эти два перевода по-настоящему надобно читать вместе: один увеличит цену другого; Попова щеголеватость сделает приятнее Фоссову простоту, а Фоссова сухость сделает еще приятнее Попову блистательную поэзию».

Позднее, когда Жуковский сам обратился к переводам Гомеровых поэм, он изменил свою точку зрения: «По незнанию Гомерова языка, лажу с Фоссовым, шероховатым, но верным; переводя Фосса, заглядываю в Попе и дивлюсь, как мог он при своем поэтическом

даровании так мало чувствовать несравненную простоту своего подлинника, которого совершенно изуродовал жеманным своим переводом» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 247).

ПОСЛАНИЕ ЭЛОИЗЫ К АБЕЛЯРУ. – Написано в начале апреля 1806 г.; впервые опубликовано в Полн. собр. соч. под ред. А. С. Архангельского. т. I, СПб., 1902, с. 24–25.

Вольный перевод первых 72 строк эпистолы Попа (общий объем эпистолы 366 строк), написанной в 1717 г.

До Жуковского эпистола переводилась в России неоднократно (перечень переводов см.: В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. 2. Пг., 1916, с. 323–326). Однако большинство из них делалось не с оригинала, а с французских переложений, как, например, цитируемый ниже анонимный перевод:

В священном храме сем, пустыней окруженном,
Где вера новый свет всем чувствам дает –
В сем месте, тишиной и миром осененном –
Душа ничтожеством жизнь кратку признает,
Чистейший пламень в ней мгновенно восплает,
Коль гробных мысленно касаюсь я дверей...

(Эпистола от Элоизы к Абелярду. Из *Bonnet de nuit. De Mr. Mercier*. <Перевел> Им-н. // Иппокрена, или Утехи любословия, 1800, ч. V, с. 337–357.)

С французского был сделан и перевод В. А. Озерова, первый стихотворный опыт известного впоследствии драматурга, опирающийся на стихотворное переложение Ш.-П. Коллардо; этот перевод находился в библиотеке Жуковского. Приведем его начальные строки:

Среди молчания в жилище тишины,
Где души сумрачны и страсти лишены,
Где Богу лишь сердца навеки посвящены,
Чем чувства здесь мои жестоко столь смущены?..

Жуковский, как это было ему свойственно и в ряде других случаев (см., напр., коммент. к «Пустыннику»), смягчает страсть, сквозящую в послании Элоизы, и усиливает его религиозность. Ср. справедливое наблюдение В. И. Резанова: «Жуковский для характеристики монастырской жизни Элоизы прибавил *умиление над холодными гробами, святые слезы веры в тишине*; пробудившийся, давно забытый

жар сердца Элоизы он изображает как *трепет внутренний, души волнение, смешение восторга и тоски*; но лобзание напечатанного на бумаге имени Абелляра, о чем говорит Поп, нашим поэтом опущено» (В. И. Резанов. Ук. соч., с. 329).

В оригинале эпистоле предпослано следующее «Краткое содержание» (*Argument*), не воспроизведенное Жуковским:

«Абеляр и Элоиза блистали в XII веке. Они выделялись среди своих современников ученостью и красотой, но более всего прославились своею несчастною страстию. После долгих злоключений оба удалились от мира в две разных обители и посвятили Богу остаток дней своих. Много лет спустя после разлуки письмо Абеляра к другу, содержащее повесть его страданий, попало в руки Элоизе. Оно пробудило в ней былую нежность и породило те знаменитые письма (отрывком из коих и является нижеследующее), которые представляют столь живую картину борьбы религиозности и природы, добродетели и страсти».

Abelard – Пьер Абеляр (1079–1142), французский философ, богослов и поэт. Трагическая история его любви к Элоизе отразилась в автобиографии Абеляра «История моих бедствий» (*Historia calamitatum mearum*, 1132–1136).

Ye grots and caverns shagged with horrid thorn! – реминисценция из «маски» Джона Мильтона «Комус» (*Comus*, 1634): “*By grots, and caverns shagged with horrid shades*” (line 429).

I have not yet forgot myself to stone – реминисценция из стихотворения Мильтона *Il Penseroso* (1632): “*Forget thy self to marble*” (line 42).

,

Джеймс Томсон (1700 – 1748)

Поэт, в творчестве которого, в целом приналежащем эпохе классицизма, намечаются черты сентиментализма. Центральное произведение Томсона – дидактическая описательная поэма «Времена года» (*The Seasons*, 1730), состоящая из четырех частей («Зима», «Лето», «Весна», «Осень») и заключительного «Гимна».

Первые переводы отрывков из поэмы стали появляться в России в 80-х гг. XVIII в. В 1789 г. в журнале «Детское чтение» была поме-

щена вставная новелла из «Времен года» «Лавиния, осенняя повесть»; перевод ее приписывается Н. М. Карамзину, которому принадлежат и следующие восторженные строки:

Природу возлюбив, природу рассмотрев
И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени,
Нам Томсон возгласил природы красоту,
Приятности времен. Натуры сын любезный,
О Томсон! ввек тебя я буду прославлять!
Ты выучил меня природой наслаждаться
И в мрачности лесов хвалить Творца ея.
(«Московский журнал», 1792, ч. VII, № 1, с. 260.)

Согласно утверждению В. Н. Топорова, с 1781 по 1812 г. было опубликовано (полностью или, чаще, в фрагментах) 34 перевода «Времен года», в большинстве случаев прозаических (см.: В. Н. Т о п о р о в. «Сельское кладбище» Жуковского: к истокам русской поэзии // *Russian Literature*, 1981, vol. X, № 3, с. 214). Однако к Томсону обращались и значительные для того времени поэты: помимо Карамзина, А. Ф. Мерзляков, В. Л. Пушкин, М. В. Милонов.

Судя по отдельным его высказываниям, Жуковский весьма высоко ценил Томсона. Так, в неопубликованных его заметках есть запись: «У иностранцев только <наследовать> оригинальных – тех, которые сообразны со своим веком. Но воспитанники прежних, а не подражатели чужих в своем веке. Таких оригинальных авторов в наше время не много [...]. У англичан Шекспир, Мильтон, Томсон, Вальтер Скотт, Саути...» (цит. по: Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. I, с. 30–31).

Помимо перевода «Гимна», в творческой биографии Жуковского есть еще один эпизод, связанный с именем Томсона. В 1801 г. была создана оратория Гайдна «Времена года»; слова к ней по мотивам поэмы Томсона написал друг композитора Готфрид фон Свитен. Жуковский сделал перевод текста Свитена и напечатал его под заглавием: «Слова оратории Четыре времени года, музыка г. Гайдена, перевел г. Жуковский», М., 1803. (Ни одного экземпляра этого издания не сохранилось).

В библиотеке Жуковского Томсон был представлен только немецким переводом «Времен года» (*Jakob Thomson's Jahreszeiten. Übersetzt von J. C. W. Neuendorff*, 1815).

ГИМН. – Был вписан Жуковским в альбом, подаренный им М. А. Протасовой, 16 января 1808 г.; опубликован с незначительны-

ми изменениями в «Вестнике Европы», 1808, № 14, с. 165–170, с подзаголовком «Подражание Томпсону». Вольный перевод заключительной части поэмы «Времена года». До Жуковского «Гимн» переводился на русский язык неоднократно, в том числе Н. М. Карамзиным.

В переводе, сделанном уже после работы над «Сельским кладбищем» Грея, Жуковский значительно смягчает сухую описательность оригинала, усиливает почерпнутые из стилистики Грея мотивы сентиментализма и даже вносит в перевод некоторые романтические нотки (подробнее см.: В. Н. Т о п о р о в. Ук. соч., с. 216–218).

Or bids you roar, or bids your roarings fall – реминисценция из Горация: «*Quo non arbiter Adiae/Major, tollere seu ponere vult freta*» (*Ode*, I, 3).

Дэвид Маллет
(1705? – 1765)

Шотландский поэт и драматург, друг и соавтор Дж. Томсона. Прославился двумя ставшими хрестоматийными балладами: «Уильям и Маргарет» (*William and Margaret, An Old Ballad*, 1723?) и «Эдвин и Эмма» (1760).

ЭЛЬВИНА И ЭДВИН. – Написано 28 – 30 октября 1814 г.; впервые опубликовано в журнале «Амфион», 1815, февраль, с. 77, с подзаголовком «Баллада» и подписью: «С Англин. Жуковский». Вольный перевод баллады «Эдвин и Эмма». До Жуковского в России был опубликован стихотворный перевод этой баллады С. С. Боброва (С... Б... Селим и Фатьма. Древняя быль. Подражание Маллетовой английской балладе *Genfrix и Эмма*. «Лицей», 1806, ч. II, кн. 3, с. 3–6).

Английскому тексту предпослан эпиграф из «Двенадцатой ночи» Шекспира (акт II, сц. 3):

Ну, спой-ка песнь вчерашней ночи, друг!
Заметь – она старинная, простая.
Крестьянки в поле, собирая хлеб,
Иль, кружево сплетая, молодежи
Поют ее; она не мудрена
И сладкою невинности любовью
Играет, как простая старина.

(Перевод А. И. Кронеберга)

При названии стоит авторская сноска:

«Отрывок из письма кюре из Боуэса в Йоркшире по поводу сюжета этого стихотворения.

М-ру Коппертуэйту из Маррика.

Достопочтенный сэр,

Что касается до любовной истории, о которой вы поминаете в своем письме, она произошла задолго до того, как я здесь поселился. Поэтому мне пришлось расспросить служку и еще кое-кого по соседству, дабы разузнать достоверные подробности печального сего события. Вот они: фамилия молодого человека была Райтсон, девицы – Рейлтон. Оба были молоды – им еще не сравнялось и двадцати лет. По рождению они были равны, но в богатстве – увь! – она значительно ему уступала. Его отец, суровый старик, собственным трудом добывший себе состояние, ждал и требовал от сына, чтоб тот женился на ровне. Но поелику *amor vincit omnia*, сердце юноши осталось верным прекрасной девушке, о коей упоминалось выше. Их помолвка, втайне от семьи, продолжалась около года. Когда же о ней узнали, старик Райтсон, его жена и особенно их дочь – горбунья Ханна – стали глумиться над девушкой, не скрывая своего презрения, потому что придерживались принципа, весьма и сейчас распространенного, что благородство крови измеряется состоянием. Влюбленный юноша между тем стал чахнуть, а к Светлому Вторнику и вовсе слег и умер через неделю после Светлого Воскресения. За день до его смерти мать позвала девушку и приняла ее весьма радушно, но было уж поздно. Однако сестра юноши Ханна неотступно была рядом с влюбленными и мешала им говорить о своих чувствах. Когда же девушка, вернувшись домой, услышала колокол, бывший по усопшем юноше, она вскричала, что сердце ее разбито, и в тот же миг скончалась. Кюре из Боуэса написал в регистрационной книге, что оба они умерли от любви, и настоял, чтобы их похоронили в одной могиле, 15 марта 1714 г.

Остаюсь, достопочтенный сэр, ... и проч.».

Жуковский не перевел этого письма и эпиграфа, сообщающих балладе некоторую описательность. Он опустил и отдельные детали сюжета, в частности строфы, относящиеся к злой и завистливой сестре юноши, и сосредоточил внимание на чувствах героев, максимально усилив эмоциональную напряженность баллады. Друг и биограф Жуковского К.-К. Зейдлиц отмечает несомненную близость сюжета душевной драме самого поэта: «В балладе «Эльвина и Эдвин» мы читаем как будто содержание разговора Жуковского с Екатериной Афанасьевой:

С холодностью смотрел старик суровый
На их любовь, на счастье двух сердец.
Расстаньтесь! – роковое слово
Сказал он наконец.

И далее, когда Эдвин решительно предает себя отеческой воле...» (К.-К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783 – 1852. СПб., 1883, с. 64).

Томас Грей
(1716 – 1771)

Поэт, представитель английского сентиментализма. Общевропейской известностью пользуется его «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) – характерный образец «кладбищенской поэзии» с типичными для нее мотивами созерцательности, меланхолии и размышлениями о бренности всего сущего.

В России до Жуковского Греева «Элегия» выходила в четырех разных переводах, однако все они были сделаны прозой с французского перевода Латурнера. Стихами был переведен лишь небольшой заключительный фрагмент: «Эпитафия господина Грея самому себе» («Покоящийся Трудолюбец», 1784, ч. 1, с. 81).

Вскоре после перевода Жуковского в 1803 г. был опубликован стихотворный перевод П. И. Голенищева-Кутузова, не утративший и поныне эстетической ценности (см.: Поэты 1790–1800-х годов. Л., «Советский писатель», 1971, с. 476).

В библиотеке Жуковского Грей был представлен изданием: *The Poems of Thomas Gray*, Lnd., 1814, и поэмой *Bard* (1837).

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ. – Первое опубликованное стихотворение Жуковского, обратившее внимание читающей публики на молодого поэта. Это стихотворение «вдруг поставило его в разряд лучших поэтов русских» (П. А. Плетнев. О жизни и сочинениях Жуковского).

Об истории создания этого перевода вспоминает современник поэта М. А. Дмитриев: «Грееву элегию: *Сельское кладбище*, перевел Жуковский, тоже еще в пансионе в первый раз в 1801 году [...] и принес свой перевод к Карамзину для напечатания в начинающемся, в 1802 году, Вестнике Европы; но Карамзин нашел, что перевод не хорош. Тогда Жуковский решился перевести ее в другой раз.

Этот перевод Карамзин принял уже с восхищением [...]. Таким образом, известный нам перевод был второй; а последний, гексаметром, вышедший уже в старости поэта, должно считать *третьим*. Такова была настойчивость молодого поэта в стремлении к совершенству, и таких-то трудов стоил ему тот превосходный стих, та мастерская фактура стиха, которыми мы восхищаемся ныне» (М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти, изд. 2-е. М., 1869, с. 182).

Первый вариант перевода, озаглавленный в рукописи «Елегия, написанная на сельском кладбище. Из Грая», был впервые опубликован в Полн. собр. соч. под ред. Архангельского, СПб., 1902, т. I, с. 13–15.

ЭЛЕГИЯ

Вечерний колокол печально раздается,
Бледнеющего дня последний час бьет,
Шумящие стада долины оставляют;
Усталый земледел задумчиво идет
В шалаш спокойный свой. – В объятиях природы,
Под кровом тишины здесь буду я мечтать.
В туманном сумраке таятся горы, воды;
Все тихо – лишь в траве кузнечики стучат,
Лишь слышится вдали пастуший рог унылой;
На древней башне сей, плющом и мхом покрытой,
Пустынные совы я дикий слышу вой, –
Она стон жалобный к луне возносит свой
На странников ночных, которые возмущают
Ее безмолвного жилища мертвый сон,
И тайную ее обитель посещают!..
Здесь, где молчание воздвигло черный трон,
Где ивы дряхлые, рукою лет согбенны,
Из ветвей лиственных сплетают кров священный,
Где вяза древние, развесисты шумят,
Бросая мрачну тень на мирные могилы;
Здесь праотцы села, в безмолвии унылом,
Почивши навсегда глубоким сном, лежат.
Дыханье свежее рождающего дня,
Ни крики ласточки, в гнезде своем сидящей,
Ни голос петуха, ни стон рогов дрожащий,
Ничто не воззовет от тяжкого их сна!
Пылающий огонь, в горнилах извиваясь,

Их в зимни вечера не будет согревать,
Не будут более сынов своих лобзать,
От тягостных трудов в шалаш свой возвращаясь...
Как часто их рука сверкающей косой
Ссекала тонкий клас на ниве золотой!
Как часто острый плуг, их мышцей напряженный,
Взрывал с усилием упорные поля,
Как часто крепкие, корнистые древа
Валилися, под их секирой сокрушенны!

Пускай сын роскоши, богатством возгордясь,
Над скромной нищетой кичливо возносясь,
Труды полезные и сан их презирает,
С улыбкой хладныя надменности внимает
Таящимся во тьме, незвучным их делам:
Часа ужасного нельзя избегнуть нам!
На всех ярится смерть – любимца громкой славы!
Вельможу-Кесаря, дающего уставы,
Всех ищет грозная и некогда найдет!
Путь славы и честей ко гробу нас ведет...
Слепого счастья наперсники надменны,
Не смейте спящих здесь безумно укорять
За то, что кости их в забвении лежат,
Что в сей обители, их теням посвященной,
Где в тихом пении, святом, благоговейном
Несется к небесам молений глас святых –
Нет гордых мраморов над скромной перстью их!
Зачем над мертвыми, истлевшими костями
Гробницы возносить, надгробия писать?
Души в холодный прах нам вечно не призвать!
И гимны почестей, гремящи над гробами,
Немого тления не властны оживить!
Неумолиму смерть хвала не обольстит!
Ах, может быть, под сей могилую таится
Праха сердца нежного, умевшего любить,
И кровожадный червь в сухой главе гнездится
Рожденной быть с венцом и мыслями парить
Иль восхищаться лир гармонией чудесной!
Науки светлые, питомицы веков,
Не озарили их светильником небесным!
Согбенны тягостью невольничьих оков,

В заветной нищете они свой век влачили,
И дар сердец своих безумно истощили...
Как часто редкий перл таится в мраке волн!
Как часто лилия в пустыне расцветает
Не зримая никем, безвестно увядает!
Там, может быть, лежит неведомый Мильтон,
И в узах гробовых безмолвствуя, хладеет;
Там, может быть, Кромвель неукротимый тлеет,
Что кровью сограждан еще не обаграл
Полей отеческих, и власти не искал!
Сенатом управлять державною рукою,
Сражаться с вихрем бед и грозною судьбою,
Обилье, счастье на смертных проливать,
В слезах признательных дела свои читать –
Сего их рок лишил своим определеньем!
Но если путь добра для них он сократил,
То много скрыл от них путей ко преступлениям;
Он им стезей убийств стремиться запретил
К престолом, пышностью и славой окруженным.
Простые их сердца умели сострадать
Несчастливым, жертвам зол, судьбою осужденным;
Ланиты их могли стыдливостью пылать!
И страсти буйные в их кущах безмятежных
Не смели возмущать невинности святой;
Ни славя, ни вина безвестный жребий свой,
Не зная ни счастья, ни бед ожесточенных,
Без страха и надежд в долине жизни сей
Они спокойно шли тропинкою своей...
В сем месте, где их персть лежит уединенно,
Простою резьбою, не златом украшенной,
Воздвигнут монумент спокойным теням их;
Здесь трудным шествием прохожий утомленной
Воссядет и почтит слезою память их –
Нет пышной надписи над скромною могилой!
Чистосердечие на ней рукой нельстивой
Их лета, имена потщилося начертать,
Евангельску мораль вокруг изобразило,
В которой мы должны учиться умирать!

Сыны безмолвия, почийте мирным сном!
Ваш подвиг совершен! – во мраке гробовом

Угрюмая судьба на вас не ополчится!
Нам всем один предел, но в землю всем сокрыться!
И мой ударит час последний, роковой,
И я, как юный цвет, увядший в летний зной,
Как нежный гибкий мирт, грозою низложенный,
Поблекну! – наша жизнь лишь быстрый сон мгновенный!
Но кто с сей жизнью без горя разлучался!
Кто прах свой, по себе, забвенью оставлял?
Без сожаления с сим миром расставался,
И взора горького назад не обращал?
Ах, сердце нежное, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой!
И взоры тусклые, навеки угасая,
Хотят взглянуть на них с последнею слезой!
Для них глас нежности в могиле нашей слышен;
Для них наш мертвый прах и в самом гробе дышит!
Здесь буду я сокрыт! – сюда любимец мой
Придет с задумчивой, унылою тоской,
И оросит мой гроб сердечными слезами, –
Когда ж судьбу мою захочет он узнать,
Седой поселянин, согбенный под летами,
Вспомнит обо мне и будет отвечать:
«Он часто на заре, в долине мне встречался,
Когда, проснувшись с днем, спешил на холм взойти,
Чтоб солнце в утреннем сиянье обрести...
Там в роще иногда в унынии скитался,
Свои страдания природе поверял,
И взором горестным свой жребий укорял;
Здесь часто, в мрачное безмолвье погруженной,
Стоял над тихою спокойною рекой,
Которая в кустах течет уединенно;
Тут иногда сидел вечернею порой,
Небрежно голову на руки наклонивши,
И взоры томные в источник устремивши,
Который в тростнике виется и журчит;
Он часто слезы лл, как будто странник бедный,
Отчизны милья, друзей, всего лишенный,
Которого и жизнь несчастью тяготит...
Он сохнул и увял; напрасно я в долине,
На холме у ручья несчастного искал!
Увы! нигде его уж больше не встречал!..

Все стало без него печальною пустыней!..
 Наутро колокол надгробный зазвучал,
 И стоном медленным, казалось, мне сказал:
 Он кончил трудный путь, путь зол и испытаний!
 Здесь, в сей юдоли тьмы сокрытой от страданий,
 Спит непробудным сном безмолвный прах его,
 Прочти надгробие любимца своего!»

Эпитафия

Здесь бедный юноша сокрыт в земле сырой!
 Не зная, что счастье, он век окончил свой!
 Как странник, в мире сем печально он скитался!
 Без утешения с природой он расстался!
 Он был душою добр, он сердцем нежен был;
 Несчастных, злобою и роком угнетенных
 Дарил последним он – слезою сожаленья;
 В награду от небес он друга получил!

Прохожий! наша жизнь как молния летит!
 Родись! – Страдай! – Умри! – вот все, что рок велит!

Переработанный вариант (май – сентябрь 1802 г.) был опубликован в «Вестнике Европы», декабрь 1802, № 24, с. 319–325, под названием «Сельское кладбище, Греева Элегия, переведенная с английского» с посвящением Андрею Ивановичу Тургеневу.

Стихотворение в первых четырех изданиях сочинений относилось Жуковским к 1801 г., в пятом издании (1849 г.) дата изменена на 1802 г. и снято посвящение. При каждом переиздании в стихотворение вносилась авторская правка, иногда весьма существенная. Заключительная строфа, к примеру, в журнальной публикации звучала так:

Прохожий, удались! во гробе сон священный:
 Судьба почивших в нем покрыта грозной тьмой.
 Надежда робкая живит их пепел тленный...
 Кто знает, что нас ждет за гробовой доской?

Перевод Жуковского получил всеобщее признание в России, затмив многочисленные переводы Греевой элегии, существовавшие до него. О значении этого перевода для развития русской поэзии см.: В. Н. Т о п о р о в. «Сельское кладбище» Жуковского: к истокам русской поэзии.– В: Russian Literature, 1981, vol. X, №. 3.

Перевод этот стал известен и в Англии уже в первой четверти XIX в., так как он вошел в «Российскую антологию» (*Specimens of the Russian Poets*, Lnd., 1821), изданную Джоном Баурингом (Bowring, 1792–1872).

Хрестоматийной известностью этого перевода объясняется и трагическое его использование спустя более двух десятков лет после его опубликования в стихотворении Н. А. Полевого «Книжная лавка», появившемся в «Невском альманахе за 1825 год». Приведем первые строки этого стихотворения:

Последний солнца луч сверкает под горою;
 Повсюду шум глухой запоров и ключей,
 Из лавок, погребов, медлительной стопою
 Идут за самовар купцы в семье своей.
 Здесь мрачно, книг ряды прилавки отягчают,
 И в смутной тишине на полках предстоят
 Громады свитков, кип подлавки занимают
 И под прилавками безмолвные лежат...
 Лишь изредка, с высот, под потолок взнесенный,
 Огромный фолиант от смелого толчка
 (Котом-отшельником иль крысой потрясенный)
 Летит – и падает, измятый, свысока!..
 Под сводом каменным сей лавки погребенны,
 Романы, повести, поэм обширный ряд,
 Здесь проза русская, стихи переведенны –
 Забытые в пыли сном непробудным спят!..

Во время своего пребывания в Англии в 1839 г. Жуковский вновь обратился к элегии Грея и перевел ее еще раз, гекзаметром. Перевод был сделан в мае – июле 1839 г. (ср. дневниковую запись поэта от 23 июля: «Поутру кончил Грееву элегию» – Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903, с. 502) и впервые опубликован в журнале «Современник», 1839, т. 16, с. 216. В дальнейшем в собраниях сочинений Жуковский печатал оба перевода. Ниже приводим текст элегии с предисловием и примечанием Жуковского, помещенными в журнальной публикации:



СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Греева Элегия

Греева Элегия переведена мною в 1802 году и напечатана в *Вестнике Европы*, который в 1802 и 1803 г. был издаваем Н. М. Карам-

зиным. Это мое первое печатное стихотворение. Оно было посвящено тогда Андрею Ивановичу Тургеневу. Находясь в мае месяце нынешнего (1839) года в Виндзоре, я посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его элегию (оно находится в деревне Stock Poges, неподалеку от Виндзора); там я перечитал прекрасную Грею-ву поэму и вздумал снова перевести ее, как можно ближе к подлиннику. Этот второй перевод, почти через сорок лет после первого, посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу в знак нашей с тех пор продолжающейся дружбы и в воспоминание о его брате.

Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает;
С тихим бляньем бредет через поле усталое стадо;
Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший
Мир уступая молчанью и мне. Уж бледнеет окрестность,
Мало-помалу теряясь во мраке, и воздух наполнен
Весь тишиною торжественной: изредка только промчится
Жук с усыпительно-тяжким жужжаньем да рог отдаленный,
Сон наводя на стада, порою невнятно раздастся;
Только с вершины той пышно плющем украшенной башни
Жалобным криком сова пред тихой луной обвиняет
Тех, кто, случайно зашедши к ее гробовому жилищу,
Мир нарушают ее безмолвного древнего царства.
Здесь под навесом нагнувшихся вязов, под свежую тенью
Ив, где зеленым дерном могильные холмы покрыты,
Каждый навек затворясь в свою одинокую келью,
Спят непробудно смиренные предки села. Ни веселый
Голос прохладно-душистого утра, ни ласточки ранней
С кровли соломенной трель, ни труба петуха, ни отзывный
Рог, ничто не подымет их боле с их бедной постели.
Яркий огонь очага уж для них не зажжется: не будет
Их вечеров услаждать хлопотливость хозяйки; не будут
Дети тайком к дверям подбегать, чтоб подслушать, нейдут ли
С поля отцы, и к ним на колена тянуться, чтоб первый
Прежде других схватить поцелуй. Как часто серпам их
Нива богатство свое отдавала; как часто их острый
Плуг побеждал упорную глыбу; как весело в поле
К трудной работе они выходили; как звучно топор их
В лесе густом раздавался, рубя вековые деревья!
Пусть издевается гордость над их полезною жизнью,
Низкий удел и семейственный мир поселян презирая;
Пусть величие с хладной насмешкой читает простую

Летопись бедного; знатность породы, могущества пышность,
Все, чем блестит красота, чем богатство пленяет, все будет
Жертвой последнего часа: ко гробу ведет нас и слава.

Кто обвинит их за то, что над прахом смиренным их память
Пышных гробниц не воздвигла; что в храмах, по сводам

высоким,

В блеске торжественном свеч, в благовонном дыму фимиама,
Им похвала не гремит, повторенная звучным органом?

Надпись на урне иль дышащий в мраморе лик не воротят
В прежнюю область ее отлетевшую жизнь, и хвалебный
Голос не тронет безмолвного праха, и в хладно-немое
Ухо смерти не вкрадется сладкий ласкательства лепет.

Может быть, здесь, в могиле, ничем не заметной, истлело
Сердце, огнем небесным некогда полное; стала

Прахом рука, рожденная скипетр носить иль восторга

Пламень в живые струны вливать. Но наука пред ними

Свитков своих, богатых добычей веков, не раскрыла,

Холод нужды умертвил благородный их пламень, и сила

Гением полной души их бесплодно погибла навеки.

О! как много чистых, прекрасных жемчужин сокрыто

В темных, неведомых нам глубинах океана! Как часто

Цвет рождается на то, чтоб цвести незаметно и сладкий

Запах терять в беспредельной пустыне! Быть может,

Здесь погребен какой-нибудь Гампден неизвестный, грозный

Мелким тиранам села, иль Мильтон немой и неславный,

Или Кромвель, неповинный в крови сограждан. Всемогущим

Словом сенат покорять, бороться с судьбою, обилье

Щедрую сыпать рукой на цветущую область и в громких

Плесках отечества жизнь свою слышать – то рок запретил им;

Но, ограничив в добре их, равно и во зле ограничил:

Не дал им воли стремиться к престолу стезею убийства,

Иль затворять милосердия двери пред страждущим братом,

Или, коварствуя, правду таить, иль стыда на ланитах

Чистую краску терять, иль срамить вдохновенье святое,

Гласом поэзии славя могучий разврат и фортуны.

Чуждые смут и волнений безумной толпы, из-за тесной

Грани желаньям своим выходить запрещаая, вдоль свежей,

Сладко-бесшумной долины жизни они тихомолком

Шли по тропинке своей, и здесь их приют безмятежен.

Кажется, слышишь, как дышит кругом их спокойствие неба,

Все тревоги земные смиряя, и, мнится, какой-то

Сердце объемяющий голос, из тихих могил подымаясь,
Здесь разливает предчувствие вечного мира. Чтоб праха
Мертвых никто не обидел, надгробные камни с простою
Надписью, с грубой резьбою прохожего молят почтить их
Вздохом минутным; на камнях рука неграмотной музы
Их имена и лета написала, кругом начертавши,
Вместо надгробий, слова из Святого писанья, чтоб скромный
Сельский мудрец по ним умирать научался. И кто же,
Кто в добычу немому забвению эту земную,
Милую, смутную жизнь предавал и с цветущим пределом
Радостно-светлого дня расставался, назад не бросая
Долгого, томного, грустного взгляда? Душа, удаляясь,
Хочет на нежной груди отдохнуть, и очи, темнея,
Ищут прощальной слезы; из могилы нам слышен знакомый
Голос, и в нашем прахе живет бывалое пламя.
Ты же, заботливый друг погребенных без славы, простую
Повесть об них рассказавший, быть может, кто-нибудь сердцем
Близкий тебе, одинокой мечтою сюда приведенный,
Знать пожелает о том, что случилось с тобой, и, быть может,
Вот что расскажет ему о тебе старожил поседелый:
«Часто видали его мы, как он на рассвете поспешным
Шагом, росу отряхая с травы, всходил на пригорок
Встретить солнце; там, на мшистом, изгибистом корне
Старого вяза, к земле приклонившего ветви, лежал он
В полдень и слушал, как ближний ручей журчит, извиваясь;
Вечером часто, окончив дневную работу, случалось
Нам видать, как у входа в долину стоял он, за солнцем
Следуя взором и слушая зяблицы позднюю песню;
Также не раз мы видали, как шел он вдоль леса с какой-то
Грустной улыбкой и что-то шептал про себя, наклонивши
Голову, бледный лицом, как будто оставленный целым
Светом и мучимый тяжкою думой или безнадежным
Горем любви. Но однажды поутру его я не встретил,
Как бывало, на хólме, и в полдень его не нашел я
Подле ручья, ни после, в долине; прошло и другое
Утро и третье; но он не встречался нигде, ни на хólме
Рано, ни в полдень подле ручья, ни в долине
Вечером. Вот мы однажды поутру печальное пенье
Слышим: его на кладбище несли. Подойди; здесь на камне,
Если умеешь, прочтешь, что о нем тогда написали:
Юноша здесь погребен, неведомый счастью и славе;

*Но при рождении он был небесною музой присвоен,
И меланхолия знаки свои на него положила.
Был он душой откровенен и добр, его наградило
Небо: несчастным давал, что имел он, – слезу; и в награду
Он получил от неба самое лучшее – друга.
Путник, не трогай покоя могилы: здесь все, что в нем было
Некогда доброго, все его слабости робкой надеждой
Преданы в лоно благого отца, правосудного Бога».*

Здесь прилагаю три рисунка, снятые мною с натуры. На первом изображено кладбище,

«Где под навесом нагнувшихся вязов...

Спят непробудно смиренные предки села»...

на втором изображена описанная Греем башня,

«Пышно плющем украшенная»;

третий рисунок представляет памятник, воздвигнутый Грею неподалеку от воспетого им кладбища, которого церковь, башня и густые деревья видны в отдалении.

В. Жуковский».

Упомянутые Жуковским рисунки (либо их фрагменты) использованы в оформлении наст. изд.

По поводу последнего перевода из Грея А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому 5 июня 1839 г.: «С Ж. провел я несколько приятных, задушевных минут... они повеяли на меня прежним сердечным счастьем, прежнею задушевною дружбою. Этому способствовал и его новый перевод элегии гекзаметрами, которую он продиктовал мне и подарил оригинал руки его, на английском оригинале написанный. Я почти прослезился, когда он сказал мне, что так как первый посвящен был брату Андрею, то 2-й, через 40 лет, хочет он посвятить мне. Мы пережили многое и многих, но не дружбу...» (Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV, с. 216).

Подробный сопоставительный анализ трех вариантов перевода элегии, а также определение ее роли в развитии русской поэзии см.: В. Н. Т о п о в. Ук. соч., vol. X, № 3.

Лишь слышится вдали рогов унылый звон – В первом варианте перевода эта строка была понята неточно: «Лишь слышится вдали пастуший рог унылой». Во втором переводе строка звучит двусмысленно. Однако эта двусмысленность снималась авторским примечанием, помещенным при публикации в «Вестнике Европы»: «В

Англии привязывают колокольчики к рогам баранов и коров». Любопытно, что в последующих публикациях «Элегии» это построчное примечание было снято, и в третьем переводе «Элегии» Жуковский вернулся к первоначальному (неверному) прочтению этой строки: «...да рог отдаленный,/Сон наводя на стада, порою невнятно раздается».

Hampden – Джон Хэмпден (1594–1643), английский сквайр, отказавшийся платить судовой налог (ship-money), введенный Карлом I, и оправданный судом, признавшим введение налога незаконным.

Здесь пепел юности безвременно сокрыли... – Для более наглядного понимания тех колоссальных сдвигов в поэтическом языке, которые были сделаны Жуковским уже на этом, раннем этапе его творчества, приведем строки из анонимного перевода фрагмента элегии, помещенного в журнале Новикова «Покоящийся Трудлюбец» (1784, ч. I, с. 81):

Того, кто славе был и счастью неизвестен,
Покоится глава во недрах сей земли,
Не морщили пред ним науки вид прелестен,
Задумчивость его причла в друзья свои.
Велика искренность была в нем и приятство,
Он мзду свою за то от неба восприал...

УСПЕХИ ПОЭЗИИ. – Датируется предположительно началом 1802 г., так как 21 марта 1802 г. Андрей Тургенев писал Жуковскому: «Что твой Progress of poetry? Отдал ли ты ее? Право, надобно что-нибудь издавать» (В. Э. В а ц у р о, М. Н. В и р о л а й н е н. Письма Андрея Тургенева к Жуковскому // Жуковский и русская культура. Л., 1987, с. 402).

Незавершенный и сильно поврежденный рукописный перевод пиндарической оды Т. Грея «Успехи поэзии» (*The Progress of Poesy*, 1754), обнаруженный томскими исследователями в архиве поэта (см. подробнее: А. С. Я н у ш к е в и ч. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985, с. 47–51). Рукопись включает черновой автограф и перебеленную писарскую копию. Ниже приводим черновой автограф поврежденной в белой копии первой строфы:

Настройся, лира вдохновенна.
Восторгом движима, звучи:
Да гласу твоему внимает вся вселенна!

Быстротекущие ключи,
Сверкая, с Геликона мчатся,
Живят росой цветы и пенясь в дол стремятся!
Поток гармонии то мирною рекой
Проходит по лугам в величии спокойном,
То вдруг, спираясь с гранитною скалой,
Вздывается, ревет и в испступленьи грозном
Клубится, мчится, бьет по голым ребрам гор,
Все рушит, в ярости, стремленьем беспреградным.
Далекий, черноглавый бор
Гром вторит гулом многократным.

А. Янушкевич высказывает предположение, что Жуковский преврал работу над переводом в связи с публикацией Грея в переводах П. Голенищева-Кутузова («Стихотворения Грея, с аглинского языка переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, с присовокуплением краткого известия о жизни и творениях Грея, и многих исторических и баснословных примечаний». М., 1803). По поводу этого издания А. Ф. Мерзляков писал Жуковскому 22 сентября 1803 г.: «Писал ли я к тебе о том, что Кутузов в месяц перевел *всего Грея?* О бедный Грей!» (Русский архив, 1871, стб. 0143).

О связи этой оды с оригинальным стихотворением Жуковского «К поэзии» см. примечания А. Янушкевич в: В. А. Жуковский. Полн. собр. соч. и писем. М., 1999, т. 1, с. 444–448.

Где солнце в вечной пре с необозримым льдом. – Пря (устар.) – распря, вражда, борьба.

→ Оливер Голдсмит (1728 – 1774)

Поэт, романист, драматург, публицист, один из крупнейших представителей английского сентиментализма. Центральная тема творчества Голдсмита – крушение патриархального быта и нравов под воздействием промышленной, «городской» цивилизации.

В библиотеке Жуковского Голдсмит был представлен и как поэт (*The Poetical Works, Complete*, Lnd., 1816, и отдельными изданиями *The Deserted Village*, 1773, и *The Traveller*, 1773), и как историк («История Англии» на французском языке), и как романист («Векфилдский священник» в немецком переводе).

ПУСТЫННИК. – Написано в июне (?) 1812 г.; впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1813, № 11 и 12, с. 179–185, с подзаголовком «Баллада» и подписью «С английск. В. Ж.». До Жуковского баллада переводилась на русский язык дважды: Н. Страховым (прозой) в кн. «Вакефильдский священник, история. Аглинское сочинение». ч. I. М., 1786, с. 71–77, и (стихами) П. Политковским («Эдвин и Ангелина. Баллада. Из сочинений Гольдсмита // «Цветник», 1809, ч. I, генварь, № 1, с. 49–58).

Первый вариант баллады Голдсмит опубликовал отдельным изданием в 1765 г.: *Edwin and Angelina. A Ballad*, By Mr. Goldsmith. Printed for the Amusement of the Countess of Northumberland. В дальнейшем он включил балладу в восьмую главу «Векфилдского священника» (*The Vicar of Wakefield*, 1766), внося в нее существенные изменения, как при публикации первого издания романа, так и второго. Однако, издавая свою поэтическую антологию (*Poems for Young Ladies, In three Parts, Devotional, Moral and Entertaining*, 1767), поэт открыл раздел «назидательных стихов» этой балладой, почти полностью восстановив ее первоначальный текст. В июле 1767 г. журнал «Сейнт-Джеймс кроникл» обвинил Голдсмита в плагиате ввиду несомненного сходства его баллады с балладой Т. Перси (Percy, 1729–1811) *Frair of Orders Gray*, но возможно, что оба произведения восходят к народной балладе *The Gentle Herdsman*.

Жуковский при переводе пользовался, судя по всему, текстом второго издания «Векфилдского священника». Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие в переводе 30-й строфы, которая была добавлена Голдсмитом позднее и впервые опубликована в *Miscellaneous Poems* в 1801 г. Жуковский изменил имя героини баллады и явно смягчил «язык страсти» в последних строфах подлинника. Баллада в переводе Жуковского в 1820-е гг. была положена на музыку Маурером. В Англии этот перевод тоже стал известен, так как он был включен в «Российскую антологию» Бауринга (см. коммент. на с. 324).

И старец зрит гостеприимный – У Жуковского отшельник трижды назван «старцем»; такой характеристики героя нет в оригинале, и она странно сочетается с юной красотой героини.

Тупе – Тайн, река на севере Англии; в переводе эта географическая подробность опущена, как часто бывает у Жуковского.

ОПУСТЕВШАЯ ДЕРЕВНЯ. – Написано в декабре 1805 г., однако замысел возник еще весной 1802 г. под влиянием Андрея Ивано-

вича Тургенева, который обещал поэту прислать стихи Голдсмита из Петербурга («Естьли есть здесь поэзии Голдшмита, то ты непременно получишь их» – см.: «Жуковский и русская культура». Л., 1987, с. 408), а несколько позднее (26 ноября 1802 г.) писал Жуковскому из Вены: «Что делает твой *Deserted village?*»

Впервые опубликовано в Полн. собр. соч. под ред. Архангельского, СПб., 1902, т. I, с. 22–24.

Перевод первых 102 строк из 430 строк поэмы Голдсмита, которая была опубликована 5 мая 1770 г. и в течение следующего месяца переиздавалась четырежды, причем автор вносил в текст существенные поправки и изменения вплоть до пятого издания включительно. До опубликования Голдсмит несколько лет работал над поэмой. Тема крушения патриархального уклада «доброй старой Англии» давно волновала его. Еще в 1762 г. в очерке «Перемены в жизни бедняков» он писал: «Мне известно, что такие перемены самое распространенное сейчас явление. Почти во всех частях королевства трудолюбивые отцы семейств изгоняются, а земли занимаются каким-нибудь предпринимателем или огороживаются, чтобы служить развлечением и прихоти». Об этом же пишет Голдсмит и в посвящении английскому художнику Джошуа Рейнолдсу (1723–1792), предпосланном поэме, которое не было переведено Жуковским (см. его в издании: О. Г о л д с м и т. Избранное. М., 1978, с. 38–39).

Обличительный пафос поэмы привлек и друга Жуковского, будущего декабриста Николая Ивановича Тургенева, оставившего в дневнике 20 ноября 1807 г. такую запись: «С английским учителем я читаю *the Deserted Village*, прекрасное произведение славного и любимого мною Гольдсмита. В сей деревне он проводил свою молодость; после, через несколько лет возвращается туда, находит все опустошенным, и одна только старуха, собирающая коренья для пропитанья, рассказала ему все случившееся с сею деревнею, в которой поселяне, населявшие оную, были выгнаны и которая принадлежит теперь богатому помещику» (Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911, вып. I. с. 427).

Своему переводу Жуковский придал вид законченного произведения, однако, судя по записям более поздних лет, он собирался продолжить работу над поэмой. В списке предполагаемых переводов, составленном не ранее 1819 г., значится: «<Из> Гольдсмита. *Desert<ed> vill<age>*«. Существует и беловой автограф «Опустевшей деревни», который заканчивается на стихе 96, с подписью «Ж.» и припиской: «Продолжение после». Сколь обширным предполагалось это продолжение – не ясно. О возможных причинах незавер-

шенности перевода см.: В. Н. Т о п р о в. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithian'ы. Wien, 1992. с. 23–25. В этой же работе приведены интересные наблюдения о влиянии на «Опустевшую деревню» и на оригинальное стихотворение Жуковского «Вечер» другой поэмы Голдсмита – «Путешественник» (*The Traveller*, 1764).

Томас Перси (1729 – 1811)

Филолог-фольклорист, переводчик, главным трудом которого была обнаруженная и откомментированная им рукопись (*Percy Folio Manuscript*), на основе которой он издал сборник «Памятники старинной английской поэзии» (*Reliques of Ancient English Poetry*, 3 vols, 1765), содержащий образцы английской народной поэзии. Этот сборник оказал огромное влияние на творчество английских и немецких романтиков.

Жуковский был знаком с творчеством Перси. Делая выписки из Гердера, Жуковский переводит пассаж, относящийся к сборнику Перси: «У французов их песни, у англичан их старинные песни, баллады и романсы – если бы каждый из нас поискал у себя, в своей провинции, в своих областных песнях, то нашлись бы, наверное, среди них такие, которые по ценности были бы равны песням из сборника Перси!» (В. А. Ж у к о в с к и й. Эстетика и критика. М., 1985, с. 304). В пометах на книге И. И. Эшенбурга *Handbuch der klassischen Literatur* Жуковский упоминает «Percy Reliques» (см.: Библиотека Жуковского в Томске, ч. II, с. 215).

К НИНЕ. – Датируется 15 апреля 1808 г.; впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1808, ч. 38, № 8, апрель, с. 272–273, с подзаголовком «С английского» и подписью «Ж.». В списке своих произведений, созданных в 1808 г., под № 47 Жуковский написал: «Песня, с английского. 15 апреля 1808 г.». Вероятно, речь идет о стихотворении «К Нине», так как в этом году у Жуковского не было других произведений с таким подзаголовком.

Название, данное в этом перечне, указывает и на источник перевода. Им является стихотворение «Песня» (*A Song*) Томаса Перси, обращенное к невесте поэта Энн Гуттеридж. Стихотворение Перси было опубликовано в шестом томе поэтической антологии, составленной Робертом и Джеймсом Додсли (*A Collection of Poems in Six Volumes by Several Hands*, 1758). (См. подробнее: К. Н. О б е р, W. U. О б е р.

Percy's Nancy and Zhukovsky's Nina: A Translation Identified // *The Slavonic and East European Review*, 1979, v. 57, № 3, p. 396.)

Стихотворение Жуковского, вписанное (без второй строфы) в альбом М. А. Протасовой, являясь переводом, исполнено в то же время «желанием через эмоционально близкое по жизненной ситуации и настроению произведение другого автора передать свои личные чувства так, чтобы быть понятым той, к кому стихотворение обращено, и при этом иметь своего рода «алиби» в виде ссылки на английский источник» (Примечание Н. Реморовой // В. А. Жуковск и й. Полн. собр. соч. и писем. М., 1999, т. 1, с. 517).

Существовал и ранний вариант перевода (датируется концом 1805 – началом 1806 г.), более личный и соответственно более отступающий от подлинника:

К НИНЕ

Простишься ли без сожаленья,
О, Нина, с жизнью городской?
Отдашь ли светски наслажденья
За счастье в хижине простой!
Не украшённом боле златом
В уборе сельском, небогатом
Не вспомнишь ли тех красных дней,
Когда тобою все дышало,
Когда ты город украшала
И милых всех была милей!

Палаты пышны покидая,
Не взглянешь ли на них с тоской?
О прежних радостях мечтая,
Снесешь ли хлад, снесешь ли зной?
Под кровом мирным, но забвенным?
С твоим супругом восхищенным
Не вспомнишь ли тех красных дней,
Когда тобою все дышало,
Когда ты город украшала
И милых всех была милей!

О, Нина, любишь ли так страстно,
Чтобы со мною скорбь делить,
Презреть убожество ужасно

И горе в сладость обратить!
Снесешь ли матери страданья,
И в час сердечного терзанья
Не вспомнишь ли тех красных дней,
Когда тобою все дышало,
Когда ты город украшала
И милых всех была милей!

Прелеста – По наблюдению Н. Реморовой (см. выше), заимствовано из стихотворения И. И. Дмитриева «К Прелесте», опубликованного в «Московском журнале» в 1791 г.

Роберт Бёрнс (1759 – 1796)

Создатель самобытной лирической и сатирической поэзии с сильно выраженным шотландским колоритом (часть стихотворного наследия Бёрнса написана на литературном английском языке, часть – на шотландском диалекте).

Хотя первый (прозаический) перевод из Бёрнса – «Стихи в честь Томсона» – появился в 1800 г. («Иппокрена», 1800, ч. VII, с. 16), творчество Бёрнса было практически неизвестно в России, пока в 1829 г. не вышел отдельным изданием «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова». Это издание числится в библиотеке Жуковского; оно было подарено ему переводчиком с автографом Козлова и надписью «Милому Жуковскому».

ИСПОВЕДЬ БАТИСТОВОГО ПЛАТКА. – Дата написания предположительно 1831 г. Ниже приводим комментарии Архангельского, впервые опубликовавшего стихотворение в Полн. собр. соч.: «Стихотворение это оставалось до сих пор не изданным. Автограф его, довольно четко написанный, хотя с значительными пометками и исправлениями рукою поэта, передан П. В. Жуковским в Императорскую публичную библиотеку».

Это стихотворение не совсем правомерно помещено в настоящем издании, так как оно не является переводом, даже вольным, стихотворения Бёрнса «Джон Ячменное Зерно» (*John Barleycorn*, 1785), а лишь травестийным переложением его. Связь его с хрестоматийной балладой шотландского поэта, вполне очевидная, до настоящего времени не привлекала внимания исследователей.

Вместе с тем травестийное стихотворение Жуковского переключается в какой-то мере и с его переложением прозы И. П. Гебеля (1760–1826) «Овсяный кисель» (1816):

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву;
 Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться;
 Кушайте: всякий нам дар совершен и даяние благо;
 Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй.
 В поле отец посеял овес и весной заскородил.
 Вот Господь Бог сказал: поди домой, не заботься;
 Я не засну; без тебя он взойдет, расцветет и созреет.
 Слушайте ж, дети: в каждом зернышке тихо и смирно
 Спит невидимкой малютка-зародыш. Долго он, долго
 Спит, как в люльке, не ест, и не пьет, и не пикнет, доколе
 В рыхлую землю его не положат и в ней не согреют.
 Вот он лежит в борозде, и малютке тепло под землею;
 Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец,
 Сок из родного зерна, и растет, и невидимо зреет;
 Вот уполз из пелен, молодой корешок пробуравил;
 Роется вглубь, и корма ищет в земле, и находит.
 Что же?.. Вдруг скучно и тесно в потемках...

проведать,

Что там, на белом свете, творится?..» Тайком, боязливо
 Выглянул он из земли... Ах! царь мой небесный, как люблю!
 Смотришь – Господь Бог ангела шлет к нему с неба:
 «Дай росинку ему и скажи от Создателя: здравствуй».
 Пьет он... ах! как же малюточке сладко, свежо и свободно.
 Рядится красное солнышко; вот нарядилось, умылось,
 На горы вышло с своим рукодельем; идет по небесной
 Светлой дороге; прилежно работая, смотрит на землю,
 Словно как мать на дитя, и малютке с небес улыбнулось,
 Так улыбнулось, что все корешки молодые взыграли.
 «Доброе солнышко, даром вельможа, а всякому ласка!»
 В чем же его рукоделье? Точит облачко дождевое.
 Смотришь: посмеркло; вдруг каплет; вдруг полилось, зашумело.
 Жадно зародышек пьет; но подул ветерок – он обсохнул.
 «Нет (говорит он), теперь уж под землю меня не заманят,
 Что мне в потемках? здесь я останусь; пусть будет что будет».
 Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй.

Ждет и малюточку тяжкое время: темные тучи
День и ночь на небе стоят, и прячется солнце;
Снег и метель на горах, и град с гололедицей в поле.
Ах! мой бедный зародышек, как же он зябнет! как ноет!
Что с ним будет? земля заперлась, и негде взять пищи.
«Где же (он думает) красное солнышко? Что не выходит?
Или боится замерзнуть? Иль и его нет на свете?
Ах! зачем покидал я родимое зернышко? дома
Было мне лучше; сидеть бы в уютном тепле под землею».
Детушки, так-то бывает на свете; и вам доведется
Вчуже, меж злыми, чужими людьми, с трудом добывая
Хлеб свой насущный, сквозь слезы сказать в одинокой печали:
«Худо мне; лучше бы дома сидеть у родимой за печкой...»
Бог вас утешит, друзья; всему есть конец; веселее
Будет и вам, как былиночке. Слушайте, в ясный день майский
Свежесть повеяла... солнышко яркое на горы вышло,
Смотрит: где наш зародышек? что с ним? и крошку целует.
Вот он ожил опять и себя от веселья не помнит.
Мало-помалу оделись поля муравой и цветами;
Вишня в саду зацвела, зеленеет и слива, и в поле
Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница, и просо;
Наша былиночка думает: «Я назади не останусь!»
Кстати ль! листки распустила... кто так прекрасно соткал их?
Вот стебелек показался... кто из жилочки в жилку
Чистую влагу провел от корня до маковки сочной?
Вот проглянул, налился и качается в воздухе колос...
Добрые люди, скажите: кто так искусно развесил
Почки по гибкому стеблю на тоненьких шелковых нитях?
Ангелы! кто же другой? Они от былинки к былинке
По полю взад и вперед с благодатью небесной летают.
Вот уж и цветом нежный, зыбучий колосик осыпан:
Наша былинка стоит, как невеста в уборе венчальном.
Вот налилось и зерно и тихохонько зреет; былинка
Шепчет, качая в раздумье головкой: я знаю, что будет.
Смотришь: слетаются мошки, жучки молодую поздравить,
Пляшут, толкутся кругом, припевают ей: *многие лета*;
В сумерки ж, только что мошки, жучки позаснут и замолкнут,
Тащится в травке светляк с фонарем посветить ей в потемках.
Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй.
Вот уж и Троицын день миновался, и сено скосили;
Собраны вишни; в саду ни одной не осталось сливки;

Вот уж пожали и рожь, и ячмень, и пшеницу, и просо;
Уж и на жниво собирать босиком ребятишки сходились
Колос оброшенный; им помогла тихомолком и мышка.
Что-то былиночка делает? О! уж давно пополнила;
Много, много в ней зернышек; гнется и думает: «Полно;
Время мое миновалось; зачем мне одной оставаться
В поле пустом меж картофелем, пухлою репой и свеклой?»
Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша;
Уж и мороз покусал им утром и вечером пальцы;
Вот и снопы уж сушили в овине; уж их молотили
С трех часов поутру до пяти пополудни на риге;
Вот и Гнедко потащился на мельницу с возом тяжелым;
Начал жернов молоть; и зернышки стали мукою;
Вот молочка надоила от пестрой коровки родная
Полный горшочек; сварила кисель, чтоб детушкам кушать;
Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: «спасибо».

Вальтер Скотт
(1771 – 1832)

Поэт и романист, один из основоположников жанра исторического романа. Его поэмы и баллады воскрешают героическое прошлое Шотландии. С популярностью Скотта в России первой трети XIX в. могла соперничать лишь популярность Байрона. Поэт и переводчик И. И. Козлов, который, по утверждению Жуковского, «знал наизусть... все поэмы Вальтер-Скотта» (Полн. собр. соч., т. X, с. 72), посвятил великому шотландцу восторженные стихи:

Как часто я в мечтах веселых,
От мыслей мрачных и тяжелых,
В тенистый Абботс-форд лечу, –
С тобой, мой бард, пожить хочу...

Первым упоминанием Скотта в русской печати была заметка в «Вестнике Европы» (1811, № 16, с. 308), где утверждалось: «Из этих английских поэтов ныне живущих публика наиболее любит *Вильяма* (sic!) *Скотта*. Одной стихотворной повести его, которая называется *The Lay of the Last Minstrel*, в шесть лет разошлось 25 000, а другой повести же, *Marmion*, с 1808 года распродано 17 000 экземпля-

ров. Каждое новое произведение Скотта приводит в деятельность композитеров, граверов, критиков и сатириков».

Первые переводы поэтических сочинений Скотта прозой появились в 1822 г.; в том же году В. А. Жуковским был создан и первый поэтический перевод Скотта (см. ниже). Подробнее о переводах Скотта в России см. обстоятельную библиографию Ю. Д. Левина, приложенную к его статье «Прижизненная слава Вальтера Скотта в России» в сб.: Эпоха романтизма. Л., 1975, с. 29–66.

Интерес Жуковского к В. Скотту возникает в 1813–1814 гг., о чем свидетельствует его переписка с С. С. Уваровым и А. И. Тургеневым. В августе 1813 г. Уваров пишет Жуковскому: «Я получил на днях кипу английских книг; между прочим все поэмы Сира Вальтера Скотта <...> Когда я окончу чтение их, то к вам препровожу лучшие» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 110). Это обещание, вероятно, не было выполнено, так как в марте 1814 г. Жуковский пишет Тургеневу об Уварове: «Он как будто обещался мне английских книг, W. Scott, etc., etc. Нельзя ли ему напомнить?» (там же).

Список произведений, с которыми Жуковский считал нужным ознакомиться при создании поэмы «Владимир», открывает и завершает Вальтер Скотт (помимо него упомянуты Байрон, Тассо, Ариосто и Томас Мур).

В библиотеке Жуковского Вальтер Скотт представлен двумя собраниями сочинений – на французском языке (Paris, 1830–1831) и в оригинале (Edinburgh, 1830), а также отдельными изданиями: *The Lord of the Isles* (Edinburgh, 1815), *Ivanhoe* (Paris, 1831), *Letters in Demonology and Witchcraft* (London, 1830).

В одном из писем Жуковского Гоголю Вальтеру Скотту посвящены следующие теплые строки: «С благодарностию сердца укажу на нашего современника Вальтера Скотта. Поэт в прямом значении сего звания – он будет жить во все времена благотворителем души человеческой. Какой разнообразный мир обхвачен его гением! Он до всего коснулся, от самого низкого и безобразного до самого возвышенного и божественного, и все изобразил с простодушною верною, нигде не нарушил с намерением истины, нигде не оскорбил красоты, во всем удовлетворил требованиям искусства. Но посреди этого очарованного мира самое очаровательное есть он сам – его светлая, чистая, младенчески верующая душа; ее присутствие различно в его творениях, как воздух на высотах горных, где дышится так легко, освежительно и целебно. Его поэзии предаешься без всякой тревоги, с ним вместе веруешь святому, любишь добро, постигаешь красоту и знаешь, какое назначение души твоей; он представляет тебе во всей наготе и зло и разврат, но ты ими не заражаешься, с тобою

сквозь толпу очумленную идет проводник, заразе ее недоступный и тебя сопутствием своим берегущий» (Полн. собр. соч., т. 10, с. 85–86).

Близкую характеристику дал Жуковский шотландскому поэту и в письме к А. С. Стурдзе от 29 мая 1835 г.:

«...Вальтер Скотт изображал нравственное безобразие во всех его видах; но, читая его, я утешен *им самим*; в душе его идеал прекрасного, любовь к добру, вера в Бога, и я охотно следую за ним в темный лабиринт жизни: в руке его Ариаднина нить, и с ним не заблудишься» (цит. по: «Жуковский-критик», *op. cit.*, с. 237).

Хотя Жуковский перевел только две баллады Скотта и отрывок из поэмы, его творческие планы в отношении этого писателя были весьма обширны. Сохранились сделанные Жуковским в 20-х гг. конспективные записи-планы двух поэм В. Скотта – *The Lady of the Lake* и *The Lord of the Isles*, что свидетельствует о намерении поэта перевести эти вещи, так как у Жуковского конспектирование прозой часто предшествовало стихотворному переводу.

Влияние В. Скотта ощутимо и в оригинальном творчестве Жуковского, особенно в «Эоловой арфе» (см. подробнее: Э. М. Ж и л я к о в а. В. Скотт в библиотеке В. А. Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. III, 1988, с. 309).

ЗАМОК СМАЛЬГОЛЬМ, ИЛИ ИВАНОВ ВЕЧЕР. – Написано в июле (?) 1822 г.; впервые опубликовано в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. XXV, № 2, под названием «Замок Смальгольм. Шотландская сказка»; перепечатано в «Новостях литературы» (1824, ч. VII, № 7) под названием «Дунканов вечер. Шотландская сказка». Перевод баллады В. Скотта, опубликованной в 1801 г. Перевод был представлен Жуковским в цензуру в августе 1822 г., но его не пропустили, как стихотворение, «не заключающее в себе ничего полезного для ума и сердца и совершенно чуждое всякой нравственной цели». Жуковский обратился с жалобой к министру духовных дел и народного просвещения, и лишь благодаря вмешательству министра баллада через два года вышла в свет, однако Жуковскому пришлось внести в текст ряд изменений. Иванов вечер (канун церковного праздника в честь Иоанна Крестителя 24 июня) стал не существующим в реальности «Дункановым вечером», были также переработаны строфы 44 и 47, которые первоначально читались:

И она, помолясь и крестом оградясь,
Вопросила: «Но что же с тобой?»

Дай один мне ответ – ты спасен или нет?»

Он печально потряс головой.

И ужасное знаменье в стол вождено,

Напечатались пальцы на нем;

На руке обожженной чернеет пятно:

И закрыта с тех пор полотном.

О цензурных гонениях, которым подверглась баллада, упоминает Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» (в черновой редакции): «В славной балладе Ж.<уковского> назначается свидание накануне Ив.<анова> дня; цен.<зор> нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить бал.<ладу> В. Ск.<отта>» (А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч., т. XI. М.-Л., 1949, с. 238). Подробности цензурного процесса изложены у М. И. Сухомлинова в «Материалах для истории просвещения в России», приложенных к «Журналу Министерства Народного просвещения», 1866 г. (с. 37–48 и 94–95).

Ниже приводим (с соответствующей пометой) примечания Жуковского (частично представляющие собой перевод примечаний В. Скотта) к балладе, помещенные им в 3-м и 4-м изданиях собраний сочинений, но снятые в 5-м.

«Замок Смальгольм [Smailho'm или Smallholm], где полагается сцена происшествия, описанного в сей балладе, известен любителям шотландских древностей и живописных видов. Он стоит на возвышенном месте, неподалеку от северных пределов графства Роксбургского и в самой середине пустынных, утесистых гор, называемых п е с ч а н ы м и с к а л а м и [Sandiknow crags]. Доселе цело главное здание, огромная четырехугольная башня; окружающий ее широкий двор был обнесен стеною, ныне упавшею, и сверх того защищаем почти отовсюду глубоким оврагом и болотом; приближение к оному возможно только с западной стороны, и то по крутой каменной тропинке. Комнаты замка, как во всех пограничных шотландских крепостцах, расположены по одной в каждом ярусе и соединяются узенькими лестницами; стены в девять футов толщины; кроме внутренних деревянных дверей, вход загражден извне железною решеткою; на кровле два б а р т и з а н а, или платформа, кои могли служить для обороны в случае осады и для прогулки и обозрения окрестностей. Одна из ближайших к замку гор господствует над прочими; она называется Watchfold [с т о р о ж е в а я]; тут в смутные времена беспрестанной войны с Англией зажигался маяк и стоял караул. У стены вне двора и теперь видны еще развалины часовни.

Вальтер Скотт, автор сей баллады, в младенчестве своем жил в соседстве Смальгольма, иногда и в самом замке, который принадлежал одному из его родственников, и по чувству благодарности поэтической захотел прославить его стихотворною сказкою: формы оной [между прочим частые рифмы на полустишия] заимствованы им из народных былевых песен южной Шотландии [Border-tale]; содержание имеет сходство с одним старинным преданием, доньше сохранившимся у суевренных шотландцев». (Прим. Жуковского.)

plate-jack... vaunt-brace (vambrace) – средневековые рыцарские доспехи.

sperthe (sparth, spar) – боевой топор.

торопясь в Бротерстон – «Бротерстон – уединенная лощина в горах за несколько миль от Смальгольма». (Прим. Жуковского.)

Анкрамморския битвы барон не видал – «Со времен Эдуарда I до начала XVII века, эпохи соединения Шотландии с Англией, военные действия в сопредельных областях сих государств почти не прекращались. Часто между монархами существовали мирные договоры, даже родственные связи, но их подданные не покидали оружия; они попеременно раздражали своих соседей или мстили им внезапными нападениями, грабежами, убийствами. Так, в 1544 году лорд Эверс и баронет Бриан Латон ворвались с вооруженными толпами в окрестности Лиддерсдела и, опустошая их, принуждали жителей присягнуть королю английскому. Ими, как повествуют очевидцы, выжжено около 200 замков, домов, церквей; убито более 400 человек, множество отведено в плен и с ними [замечание, достойное шотландской экономии] целые стада лошадей, рогатого и мелкого скота. Сказывают, что Генрих VIII обещал отдать сим хищникам разоренный ими край в феодальное поместье; услышав о том, Арчибальд Дуглас граф Ангусский поклялся, что напишет жалованную грамоту на н а н и х с а м и х острым пером и кровавыми чернилами. «Узнают, – прибавил он, – каково ругаться над гробами моих предков», ибо лорд Эверс и Бриан Латон истребили могильные камни Дугласова рода в аббатстве Мельрозском. В 1545 году они опять вступили в Шотландию; с ними было 3000 наемных иностранных воинов, 1500 англичан из ближних графств и 700 присягнувших Англии шотландцев. Сей второй набег еще более первого ознаменован делами бесчеловечия: лорд Эверс, взяв Брумгауз, сжег не только замок, но, как утверждает Лесли, и владелицу оною, престаре-

люю почтенную женщину со всем ее семейством. Дошедши до Мельрозского аббатства и снова разграбив оно, англичане отступили к Джедбергу; в сем месте их догнал граф Ангусский с тысячею человек конницы; к нему вскоре присоединился и славный Норман Леслей: он начальствовал войсками графа Файфского; лорд Эверс, вероятно, опасаясь переправляться через речку Тевиот в виду шотландцев, остановился среди полей, принадлежащих деревне Анк-рам-Мур; полководцы шотландские, с своей стороны, не знали, идти ли им вперед. Пока они рассуждали о том, прискакал с небольшим числом своих отборных ратных людей [gatainers] баронет Вальтер Скотт-Боклю: ему как опытнейшему воину того времени историк Буханан и Питтскотти приписывают успех последовавшего за сим сражения. По его совету граф Ангусский отступил с занятой им горы и расположил свои войска у подошвы оной, на равнине, называемой Паниерг, или Паниель-Геиг, отправил часть легкой конницы еще далее назад. Увидев ее на одном из крайних к горизонту холмов, англичане сочли сие знаком общего бегства шотландцев и устремились за ними в погоню; но едва достигли оставленной Дугласом высоты, как им представилась главная сила шотландских копейщиков [spearmen], готовая к бою. Тогда шотландцы двинулись вперед и с яростью ударили на английские войска, усталые, изумленные и сверх того ослепляемые лучами заходящего солнца и облаками пыли, которые навевал на них сильный встречный ветер. Говорят, что в минуту нападения цапля, испуганная шумом, поднялась из ближнего болота. «Жаль, сказал граф Ангусский, что здесь нет моего сокола; у нас бы разом было две потехи». Как только смешались ряды англичан, то невольные присяжники их шотландцы, ждавшие лишь сего случая, сорвали с себя красные английские кресты, присоединились к единоплеменникам и, убивая бегущих неприятелей, восклицали: помни Брумгауз! В сей битве погибли лорд Эверс, баронет Бриан Латон, сын его, множество других знатных людей и 800 рядовых воинов; 1000 человек взяты в плен, в том числе лондонский альдерманн Рид, которого Генрих VIII в наказание за изъявленное им несогласие на добровольную подать отправил сражаться с шотландцами; впоследствии, торгуясь о выкупе, Рид нашел, что его победители еще неуступчивее короля в делах денежных. Генрих VIII, узнав о смерти Эверса, грозился отомстить графу Ангусскому. Дуглас отвечал с чувством, достойным своего рода: «Неужели мой шурина¹ сердится за то, что я как добрый шотландец оплатил

¹Граф Ангусский был женат на одной из сестер Генриха Маргерите, вдове шотландского короля Иакова IV.

Ральфу Эверсу за разорение отеческой земли и отеческих гробов: кажется, предки мои того стоили; они лучше нас и короля Генриха; а он за это хочет отнять у меня жизнь; пусть отведаст: ему худо знакомы горы Кирнетельские; в них я продержусь против всей его английской Армии».

Место, на коем была сия славная в шотландских легендах битва Анкрамморская, называется **Л и л и а р д и н ы м к о с о г о р о м** [Lyliards edge], по имени одной воинственной женщины, тут погребенной; иные старики еще видели ее надгробный камень с следующей надписью:

Fair maiden Lyliard lies under this stane,
Little was her stature, but great was her fame;
Upon English louns, she laids many thumps,
And when her legs was cutten off, she fought on her stumps.

– Под сим камнем лежит прекрасная дева Лилиард; она была роста малого, но велика славою; ею нанесены англичанам многие язвы, и, потеряв ноги в бою, она, держась на коленях, еще сражалась». (Прим. Жуковского.)

Dryburgh – Драйбург, старинное аббатство в графстве Бервик в Шотландии.

в монастырь на горе / Панихиду он позван служить – «Нужно ли объяснять нашим читателям, что здесь греческое слово **п а н и х и д а** [всенощная] употреблено в смысле не особенного рода службы, а вообще моления об усопших, и что церковные обряды, о коих упоминается в следующих стихах, принадлежат к богослужению римско-католической веры. В 1545 году она была еще господствующей в Шотландии, хотя уже и прежде сего времени являлись в ней многие проповедники начатой Лютером реформации; первые Патрик Гамильтон, аббат Фернский, и Генрих Форест, бенедиктинский монах, с некоторыми из их последователей сожжены по приказу судебного судилища, и даже учреждена почти инквизиционная комиссия на новых еретиков; в ондой председательствовал Джемс Гамильтон-Феннер, незаконнорожденный брат графа Аррана, бывшего регентом королевства. Только в 1561 году объявлена в Шотландии всеобщей верою – реформатская по учению Кальвинову, и сим торжеством протестанты были обязаны вспоможению, явному и тайному, английской королевы Елизаветы». (Прим. Жуковского.)

Где подьѣмлетсѧ мрачный Эльдон – «Эльдон, высокий холм с тремя коническими вершинами над самым городом Мельроз, в который любопытные приезжают смотреть развалины великолепного монастыря. На Эльдоне, как повествуют, под деревом, давно уже истлевшим, произносил свои предсказания славный поэт и прорицатель XIII столетия Томас Лирмонт, владѣлец замка Эрсильдона, прозванный: *The Rhymer*, то есть р и ф м о- или с т и х о т в о р е ц». (Прим. Жуковского.)

Дай один мне ответ – ты спасен ли иль нет?.. – «Сей порыв бескорыстной нежности в преступной, изумленной страшным видением женщине достоин замечания. Она забывает все: горестъ потери, мщѣние супруга, ужас разговора с пришельцем из другого света, и только спрашивает: ее несчастный любовник не погѣб ли душою за нее, за незаконную страсть, коей она была предметом. Читатель чувствует, что такое сердце еще способно возвратиться к добродетели и что вера будет его путеводителем». (Прим. Жуковского.)

Есть монахиня... То его молодая жена. – «Здесь опять должно заметить необыкновенное искусство автора. Вместо того, чтобы с школьным риторством описывать первые действия раскаянія, почти всегда одинаковые, он вдруг переносит воображеніе читателя к другой эпохе. Прошло много лет; в самом соседстве Смальгольма позабыты и могущественный феодальный владѣлец, и славная красотою жена его; даже память ужасного, сверхъестественнаго происшества изглажена пными, новейшими; но для виновных ничего не миновалось; чувство преступления живет и возрождается в грызущей себя совести; оно, как в первые часы, наполняет всю душу сих отшельников, безмолвных, безутешных навеки... но не безнадежных, ибо пред ними алтарь любви всепрощающей». (Прим. Жуковского.)

ПОКАЯНИЕ. – Написано в конце марта – начале апреля 1831 г.; впервые опубликовано в «Балладах и повѣстях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831.

Вольный перевод неоконченной баллады В. Скотта «Серый монах» (*The Gray Brother*). В черновых вариантах баллада Жуковского называлась «Черный монах». Последние строфы добавлены в переводе и усиливают мистико-религиозную тональность, отсутствующую в оригинале.

СУД В ПОДЗЕМЕЛЬЕ. – Написано в 1831 – 1832 гг.; впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. III, № 4, с подзаголовком «Последняя глава неоконченной повѣсти», с пометой «Верне, на берегу Женевского озера, 1832».

Комментаторы обычно считают «Суд в подземелье» переводом второй песни (в оригинале название «Монастырь» – *The Convent*) поэмы «Мармион» (*Marmion: a Tale of Flodden Field*, 1808), однако следует вдуматься в авторское примечание к журнальной публикации: «Первая глава еще не написана; сия же последняя заимствована из Вальтер-Скоттова Мармиона». Сопоставление текстов Жуковского и Скотта показывает, что переводом, даже вольным, «Суд в подземелье» в целом назвать нельзя. Жуковский, весьма точно переведя некоторые (особенно содержащие описания) строфы подлинника, в сюжетном отношении создал свое, оригинальное произведение, которому должна была быть предпослана первая часть – вероятно, история любви героев, приведшая Матильду к трагическому финалу второй части.

В поэме Скотта лорд Мармион, фаворит Генриха VIII, разлюбив монахиню Констанс Беверли, которая ради него, нарушив обет, покинула монастырь св. Хильды и сопровождала его повсюду, переодевшись пажом, решает жениться на богатой наследнице, леди Клэр, помолвленной с Ральфом де Уилтоном. Чтобы устранить соперника, Мармион при помощи подложных писем обвиняет Уилтона в предательстве, причем Констанс помогает своему любовнику, надеясь, проникнув в его тайну, получить над ним власть. В поединке с Мармионом Уилтон тяжело ранен и оставлен – как полагают, мертвым – на поле боя. Леди Клэр запирается послушницей в монастыре св. Хильды. Констанс делает неудачную попытку отравить соперницу и, вместе с монахом-сообщником, попадает в руки церковного трибунала, приговаривающего обоих преступников быть живо замурованными в склепе. Чудом выжившему Уилтону удастся доказать свою невиновность, Мармион погибает в сражении под Флодденом, и поэма завершается счастливым союзом Уилтона и Клэр.

Судя по карандашным пометам Жуковского в английском тексте поэмы и ее французском переводе, поэт уже при чтении выделил интересующие его части текста, которым и уделил особое внимание при переводе: «В прозаическом изложении «Мармиона» во французском издании 1830 г. (Томского собрания) вертикальной линией вдоль текста простым карандашом на полях отмечены четыре строфы во второй песне поэмы: XXIII, XXIV и XXXII, XXXIII. Эти же строфы и дополнительно XXV отмечены точно так же в английском издании (на полях простым карандашом). Кроме этого строфы разбиты маленькими горизонтальными черточками на группы по 5 строк. Выделенные строфы являются кульминацией трагических событий II песни поэмы: описание гробницы, в которую живой должна быть замурована юная Констанция (XXIII), описание бессердеч-

ных палачей-монахов (XXIV) и финальные строки об ужасе самого заточения и отзвуках гибели Констанции в растревоженных душах живых (XXXII–XXXIII)» (цит. по: Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. III, 1988, с. 347).

Вместо суда над беглой монахиней, прожившей несколько лет в миру, виновной в подлоге и попытке отравления, и над ее соучастником у Жуковского рассказана трогательная история невинной девушки Матильды, покинувшей монастырские стены, но по неизвестным читателю роковым причинам не встретившей своего возлюбленного и тут же настигнутой погоней и преданной чудовищной казни.

«Художественная организация «Суда в подземелье» служит выражению центрального конфликта, который носит у Жуковского этический и философский характер как антитеза жизни и смерти, воли и неволи, света и тьмы, свободы и насилия, добра и зла, любви и ненависти. В сравнении с поэмой В. Скотта Жуковский укрупнил противоречие между естественными стремлениями человека и жестокими догматами церкви. Этой задаче подчиняются все компоненты, начиная с композиции. Жуковский несколько меняет композиционный рисунок В. Скотта. Тридцать три строфы второй песни он сокращает до шестнадцати, убрав все, связанное с Кларой, заговором, соучастником (V–VII, XXII, XXVI–XXXII). Тем самым Жуковский освободил Констанцию (в повести она названа Матильдой) от нравственной вины перед Кларой, оставив только одну «вину» – любовь, заставившую ее покинуть монастырь.

Жуковский произвел перегруппировку нескольких строф: соединил в одну III и IV (описание игуменьи), IX и X (рисующие Кутбертов монастырь), XIX и XX (описание судей и их жертвы) строфы; выборочно из XXIII, XXIV и XXV скомпоновал XV строфу в повести» (цит. по: Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. III, 1988, с. 348).

До Жуковского поэма Скотта переводилась на русский язык, полностью («Мармион, или Битва при Флодден-Филде». Сочинение Сира Вальтера Скотта. Перевод с французского, в двух частях. М., 1829 <Проза>) и в отрывках – в частности, И. И. Козлов сделал стихотворный перевод фрагмента поэмы (Canto 5, XII, *Lochinvar*): «Бeverлей. Шотландская баллада из Вальтера Скотта». – В кн.: Собрание стихотворений Ивана Козлова, ч. II. СПб., 1833, с. 276–278.

Роберт Саути (1774 – 1843)

Поэт-романтик, один из представителей «озерной школы», куда помимо него входили Уильям Вордсворт (Wordsworth, 1770–1850) и С. Т. Кольридж (Coleridge, 1772–1834). Всех их объединяла определенная общность идеологических и эстетических позиций, дружеские и родственные связи; название группы связано с «Озерным краем» (Lake Country) на севере Англии, где подолгу жили поэты.

Жуковскому, называвшему себя «дядькой чертей и ведьм немецких и английских», оказались созвучны романтические баллады Р. Саути. По количеству переводов (8 баллад и фрагмент эпической поэмы) Саути занимает в творчестве Жуковского первое место среди англичан.

Интерес к творчеству Саути был довольно длительным: переводы из него Жуковский делал в 10-е, 20-е и 30-е годы.

1 декабря 1814 г. он пишет А. И. Тургеневу: «Хорошо бы ты сделал, когда бы выпросил у Сергея Семеновича [Уварова. – К.А., см. коммент. на с. 339] обещанные им мне английские книги; и еще попросил бы у него (если есть у него) *Thalaba the Destroyer* by Southey и *Arthur or the Northern Enchantment* by Hoole. Все это могло бы мне пригодиться для моего «Владимира», который крепко гнездится в моей голове» (Полн. собр. соч., т. XII, с. 97).

В период работы над переводом «Орлеанской девы» Шиллера Жуковский внимательно, с пометами читает эпико-драматическую поэму Саути *Joan of Arc* (1796) (см. подробнее: В. М. К о с т и н. В. А. Жуковский – читатель Р. Саути // Библиотека Жуковского в Томске, ч. II, с. 450–476).

В библиотеке Жуковского было собрание сочинений Саути в 13 томах (выходило с 1814 по 1815 г.). Однако при переводе первых баллад из Саути Жуковский, вероятнее всего, пользовался изданием: *Metrical Tales and Other Poems* (Lnd., 1805).

Есть письменные свидетельства, что переводы Жуковского были известны Р. Саути (см. коммент. на с. 351). Более того, по предположению Л. М. Аринштейна, оригинальное стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812) было одним из источников стихотворения Саути «Поход на Москву» (*The March to Moscow*, 1813) (см.: Л. М. А р и н ш т е й н. Жуковский и поэма о 1812 году Р. Саути // Жуковский и русская культура. Л., 1987, с. 311–322).

АДЕЛЬСТАН. – Написано в январе 1813 г.; впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1813, № 3 и 4, февраль, с. 212–218, с подзаголовками: (Баллада), (Перевод с Английского).

Перевод баллады «Рудигер» (*Rudiger*, 1797).

Саути ссылается на английского писателя Томаса Хейвуда (Heywood, 1575? – 1641), у которого он почерпнул сюжет, однако Ц. Вольпе отмечает, что сюжет, вероятнее всего, восходит к средневековым легендам о Лоэнгрине.

Английскому тексту предпослано следующее авторское предисловие, не переведенное Жуковским: «Князья и знать, собравшиеся в роскошном дворце на Рейне, могли видеть, как подплыла лодка или небольшая барка, влекомая лебедем на серебряной цепи, одним концом обвивающей его шею, другим укрепленной на барке; и никому не известный воин, человек приятной наружности и с изящной осанкой, вышел на берег, после чего барка с лебедем уплыла вниз по реке. Позднее человек этот женился на одной благородной девушке, и народила она ему много детей. Несколько лет спустя барка с тем же лебедем приплыла на то же место, воин сел в нее и уплыл вверх по Рейну, оставив жену и детей, которые никогда более его не видали».

Эта баллада – первое обращение Жуковского к поэзии английского романтизма.

В журнальной редакции перевода Жуковского финал был трагический:

И воскликнула: Спаситель!
Руку рыцаря схвати.
Нет спасения! губитель
В бездну бросил уж дитя.

И дитя, вясь, стеноло,
В грозных сжатое когтях...
Вдруг все пусто, тихо стало
В глубине и на скалах.

В окончательной редакции финал приближен к подлиннику. Имена героев и топонимы, а также стиховая структура изменены, 6-я и 7-я строфы перевода распространяют одну строфу подлинника.

БАЛЛАДА, В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ОДНА СТАРУШКА ЕХАЛА НА ЧЕРНОМ КОНЕ ВДВОЕМ И КТО СИДЕЛ ВПЕРЕДИ. – Написана в октябре 1814 г.; впервые опубликована в

«Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831.

Вольный перевод баллады Саути «Старуха из Беркли» (1799). Первое упоминание о балладе содержится в письме Жуковского А. И. Тургеневу от 20 октября 1814 г.: «...Вчера родилась у меня еще баллада-приемыш, то есть перевод с английского. Уж то-то черти, то-то гробы! Но это последняя в этом роде. Не думай, чтобы я на одних только чертях хотел ехать в потомство. Нет! Я знаю, что они собьют на дороге, а, признаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 128).

Баллада была запрещена цензурой. 12 апреля 1815 года Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Балладу *Старушка* в Москве не пропустили; постарайся, чтобы того же не сделалось в Петербурге» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, с. 145). Но, хотя в столице ее постигла та же участь, текст баллады распространялся в рукописи и неоднократно читался самим Жуковским и даже при дворе. В середине 1820-х гг. Жуковский предпринял новую попытку напечатать балладу (теперь под названием «Ведьма») в журнале «Московский телеграф». В связи с этим цензор сделал следующее замечание: «Баллада «Старушка», ныне явившаяся «Ведьмой», подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над Богом» («Русская старина», 1887, т. LVI, с. 485). Чтобы опубликовать балладу, Жуковскому пришлось коренным образом переработать 41–42-ю строфы, где речь шла о появлении в церкви сатаны – теперь он не дерзал переступить порог храма. В печатной редакции, сохраненной и в пятом (последнем прижизненном) собрании сочинений (1849), строфы 41-я и 42-я читаются:

И *он* предстал весь в пламени очам,
Свирепый, мрачный, разъяренный;
Но не дерзнул войти *он* в Божий храм
И ждал пред дверью раздробленной.

И с громом гроб отторгся от цепей,
Ничьей не тронутый рукою;
И в миг на нем не стало обручей...
Они рассыпались золою.

Строфа 45-я:



Шатаясь пошла она к дверям;
Огромный конь, чернее ночи,
Дыша огнем, храпел и прыгал там,
И как пожар пылали очи.

В наст. изд. текст печатается по Собр. соч. в 4 тт., М., 1959, в котором воспроизведен текст последнего прижизненного издания, а строфы 41-я, 42-я, 45-я как подвергшиеся переработке цензурного характера соответствуют последней рукописной доцензурной редакции.

Саути знал о существовании перевода Жуковского. В предисловии, датированном 8 марта 1838 г., к шестому тому своего «Собрания сочинений» он писал, полемизируя с Пейном Кольером: «Он [Пейн Кольер. – К.А.] пришел к выводу, что «Старуха из Беркли» – пародийная баллада [a mock-ballad], о чем, по правде говоря, не подозревали ни сам автор, ни кто-либо из его друзей. Совсем по-иному была она воспринята в России, где, после того как была переведена и опубликована, она была запрещена по той единственной причине, что дети слишком боялись ее. Об этом мне рассказал один русский путешественник, посетивший меня в Кезике».

В переводе Жуковский изменил отдельные детали подлинника (в частности, у старушки из английской баллады была, помимо сына, и дочь-монахиня), ввел в описание некоторые детали православного обряда (священники служат собором, «помост пред царскими воротами», дьячки в черных стихарях кадили с ладаном фимиам и др.), в переводе усилен «ужас» прежде всего за счет использования гиперболы (ср. у Саути: «И удары, как от тарана,/ Потрясли крепкие ворота церкви» и у Жуковского: «Как будто степь песчаную оркан/ Свистящими крылами роет»). Строфы 9-я и 8-я от конца у Жуковского переставлены.

ВАРВИК. – Написано в Долбине 24–27 октября 1814 г., однако уже в первой тетради «долбинских» стихов, относящихся к первым числам октября, имеется такая запись:

Никем не видим бросил в волны
Артура злой Варвик;
И слышали одни безмолвны
Скалы младенца крик.

Впервые опубликовано в журнале «Амфион», 1815, кн. VI.

Вольный перевод баллады «Лорд Уилльям», впервые опубликованной в «Морнинг пост», 1798, март, без 23-й строфы, полностью – в *Poems*, vol. 2, 1799. Жуковский изменил имена героев, топонимы (вместо Северна – его приток Эйвон, или Авон) и отдельные детали баллады.

РОДРИГ. – Датируется 22 апреля 1822 г. Начало перевода эпической поэмы Саути: «Родрик, последний из готов» (*Roderic, the Last of the Goths*, 1814). При жизни Жуковского не публиковалось. Впервые 22 стиха белого текста были опубликованы Архангельским (Полн. собр. соч., т. XI, с. 135). Остальные 19 стихов представляют собой черновое продолжение перевода, впервые опубликованное в составе статьи В. М. Костина «Жуковский и Пушкин (проблема восприятия поэмы Р. Саути “Родрик, последний из готов”» (Проблемы метода и жанра, вып. 6. Томск, 1979).

Очевидно, планы перевода этой поэмы Жуковский вынашивал давно. На это указывает и письмо Пушкина Гнедичу от 27 июня 1822 г.: «Когда-то (курсив мой. – К.А.) говорил он мне о поэме *Родрик* Саувея; попросите его от меня, чтоб он оставил его в покое...» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 40).

О намерении Жуковского продолжить работу над переводом говорят многочисленные карандашные пометы в тексте оригинала и составленный на форзаце десятого тома сочинений Саути план перевода всей поэмы (см.: В. М. Костин. В. А. Жуковский – читатель Р. Саути // Библиотека Жуковского в Томске, ч. II, с. 450–476).

«Родрик» числится и в списках творческих планов Жуковского (см. наст. изд., с. 14), составленных позднее начатого перевода.

Этот оставшийся незавершенным перевод – один из первых опытов Жуковского в эпическом жанре.

ДОНИКА. – Написано 19–20 марта 1831 г.; впервые опубликовано в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831. Вольный перевод одноименной баллады Саути (1797). Английскому тексту предпослано следующее авторское предисловие, оставшееся не переведенным Жуковским: «В Финляндии есть замок под названием Нью-Рок, окруженный каналом неслыханной глубины, вода в нем черная, рыба весьма неприятна на вкус. У воды часто видят призраков, они предвещают смерть либо коменданта крепости, либо кого-нибудь из старших офицеров. Чаще всего призрак появляется в виде сладкоголосого арфиста, играющего и резвящегося над водой.

Рассказывают о некоей Дюнике, после смерти которой Дьявол на два года завладел ее телом, о чем никто не подозревал, потому что она была как живая, разговаривала и ела, хотя и очень помалу; и единственным признаком смерти была глубочайшая бледность лица ее. Однажды один чудотворец увидел ее в обществе других девушек, подошел и сказал: «Прекрасные девушки, зачем вы гуляете с

этой мертвой девой, которую вы почитаете за живую?» И тогда уничтожились волшебные чары, и тело упало замертво.

Нижеследующая баллада основана на этой легенде. Ее можно найти в примечаниях к «Иерархии благословенных ангелов», поэме Томаса Хейвуда, 1635».

Жуковский притушил «местный колорит», изменил имя героя, топонимы, стихотворный размер и сократил балладу на одну строфу.

СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ. – Написано в марте 1831 г.; впервые опубликовано в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», 1831.

Вольный перевод баллады, опубликованной в «Морнинг пост», ноябрь 27, 1799. Жуковский изменил строфику подлинника. Английский текст имеет следующее авторское предисловие, не переведенное Жуковским: «Это произошло в год 914, когда случился небывало жестокий голод в Германии и когда Оттон, по прозванию Великий, был императором, а некий Гаттон, ранее Фульдский аббат, был архиепископом Майнца.[...] Оный Гаттон во время великого голода, о коем говорилось выше, как увидел, что жители города очень страдают, собрал великое множество народу в своем амбаре и, как самый безжалостный, презренный и проклятый трус, сжег сии невинные души, кои надеялись получить от него утешение и облегчение своей участи. Причина, по коей прелат свершил столь отвратительное святотатство, заключалась в том, что он полагал, будто голод пройдет скорее, если очистить мир от сих никому не нужных бродяг, кои потребляют хлеба больше, чем сами того стоят. Посему он сказал, что бродяги эти подобны мышам, пригодным лишь на то, чтобы истреблять хлеб. Но Всемогущий, вечный заступник бедных, не попустил, чтобы сие омерзительное тиранство долго оставалось без возмездия. И снарядил он полчища мышей, и послал их преследовать епископа, дабы докучали ему денно и ночью, дабы не имел он ни минуты покою. Тогда прелат, полагая, что будет он в безопасности от мышей, если поселится в башне, стоящей неподалеку от города, посреди Рейна, поместился в оной башне – надежном убежище от своих недругов – и затворился в ней. Но несметные полчища мышей последовали за ним и подплыли к башне, дабы свершить Божий суд правый. И вот, наконец, был он самым жалким образом сожран мышами, которые преследовали его с таким ожесточением, что, говорят, после того, как сожрали тело, выгрызли даже имя его со стен и шпалер, где оно значилось. Башню, в коей списокон был съеден мышами, показывают по сей день как вечное напоминание

всем грядущим векам о варварской безжалостной тирании сего безбожного прелата; она расположена на небольшом зеленом островке посреди Рейна, неподалеку от города Бинг, и обычно зовется на немецкий лад *Mäuseturm*.

Другие авторы, рассказывающие сию повесть, утверждают, что епископ был сожран крысами».

КОРОЛЕВА УРАКА И ПЯТЬ МУЧЕНИКОВ. – Написано в марте – апреле (?) 1831 г. Впервые опубликовано в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», 1831. Перевод баллады Р. Саути *Queen Oracca and the Five Martyrs of Morocco* (1803), написанной на сюжет средневековых легенд.

Affonso II – португальский король (правл. 1211–1228).

a friar minorite – старинное название монахов францисканского ордена (*Friars Minor*), основанного Франциском Ассизским в 1209 г.

ДВЕ БЫЛИ И ЕЩЕ ОДНА. – Датируется предположительно 22 мая – 11 июня 1831 г.; впервые опубликовано в журнале «Муравейник» (1831, № 4, с. 1–16), под заголовком «Две были».

Произведение состоит из обрамления и трех эпизодов; источниками двух первых эпизодов были баллады Р. Саути «Мэри, служанка гостиницы» (*Mary, the Maid of the Inn*, 1796) и «Джаспер» (*Jasper*). Жуковский перенес место действия из Англии в Германию, изменил стихотворный размер и ряд собственных имен. Третий эпизод – переложение прозаического рассказа И. П. Гебеля «Каннитферштан» (*Kannitverstan*) – в наст. изд. не помещен.

Жуковский ввел пролог и связи между тремя эпизодами.

→ **Томас Кемпбелл**
(1777 – 1844)

Шотландский поэт и литератор. Друг Вальтера Скотта, который написал о его стихах хвалебную статью в «Куотерли ревью», март, 1809. Особенной популярностью пользовалось его стихотворение «Гогенлинден» о победе французов над австрийцами 3 декабря 1800 г. Стихотворение это было опубликовано в 1801 г. по инициативе В. Скотта, о чем остался любопытный рассказ А. И. Тургенева: «Тикнор рассказал нам случай из жизни Кампбеля и В. Скотта, который сохранил английской литературе лучшую пьесу Кампбеля на

победу при Гогенлиндене. Однажды В. Скотт и Кампбель на пути из Лондона куда-то на дачу читали друг другу стихи свои. Когда очередь опять пришла Кампбелю, то он сказал В. Скотту, что давно уже написал стихи на Гогенлинденскую битву, но что они кажутся ему недостойными печати и он никому еще их не показывал. В. Скотт, выслушав их, сказал Кампбелю: «Это лучшие стихи твои, это твой *chef-d'œuvre!*», и с тех пор Гогенлинден – перл английской поэзии – занял первое место в собрании стихотворений Кампбеля. Публика подтвердила приговор В. Скотта» (цит по кн.: М. П. А л е к с е в. Русско-английские литературные связи. М., 1982, с. 370).

УЛЛИН И ЕГО ДОЧЬ. – Написано 10 января 1833 г.; впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. IV, с. 31, с пометой: «Верне 1833, 10/22 генваря, 1833».

Жуковский сделал вольный перевод баллады *Lord Ullin's Daughter*, сократив ее на 3 строфы, изменив стихотворный размер, наделив именами безымянных героев оригинала; строфы 12-я и 13-я оригинала в переводе переставлены.

Томас Мур (1779 – 1852)

Ирландский поэт-романтик, друг и биограф Байрона. Основное поэтическое наследие Мура составляют стихи двух циклов: «Ирландские мелодии» (*Irish Melodies*, 1807–1834) и «Мелодии разных народов» (*National Airs*, 1818–1827), а также «восточная повесть» «Лалла Рук» (*Lalla Rookh; an Oriental Romance*, 1817).

Жуковский впервые познакомился с поэзией Мура, видимо, в 1818 г. (Ср. письмо к нему Д. Блудова, датированное августом 1818 г.: «Вместе с Байроном ты получишь и Мура в двух маленьких томах. Я не купил всех их произведений, ибо не знаю еще, понравится ли тебе этот вовсе не знатный поэт; здесь он славен переводом Анакреона, но на что нам, русским, Анакреон по-английски? Впрочем, если ты хочешь, я могу прислать тебе и остальные стихотворения Мура». – Цит. по: А л е к с е в. Ук. соч., с. 658.)

Перевод В. А. Жуковского был первым переводом из Мура в России. В том же году появились в свет два прозаических перевода из поэмы: декабрист Бестужев опубликовал перевод третьей вставной поэмы «Обожатели огня, восточная повесть (из Мура)» в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1821, ч. 16, кн. 2–3,

с. 113–156, 249–297, и в том же году – отдельным изданием, а также анонимный прозаический перевод второй вставной поэмы «Рай и Пери». Перевод К. П. Б. («Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 13, кн. 1, с. 37–62).

В библиотеке Жуковского Мур был представлен несколькими изданиями: парижским однотомником (*The Poetical Works of Thomas Moore <...> Complete in One Volume*. Paris, 1827), двумя немецкими переводами, в том числе отдельным немецким изданием поэмы «Лалла Рук», и брюссельским изданием дневников лорда Байрона в французском переводе.

ПЕРИ И АНГЕЛ. – Написано в 1821 г.; впервые опубликовано в журнале «Сын отечества», 1821, № 20, и тогда же отдельным изданием.

Перевод второй вставной поэмы из «Лалла Рук» – «Рай и Пери». Произведение Мура состоит из прозаического обрамления и четырех вставных поэм. В прозаической части говорится о путешествии индийской принцессы Лалла Рук к ее жениху, бухарскому принцу Алирису. По дороге ее развлекает рассказами (они-то и составляют четыре вставные поэмы) молодой кашмирский поэт Фераморз, в которого принцесса влюбляется и который в финале оказывается перодеетым Алирисом.

Особый интерес к «восточной повести» Мура возник у Жуковского в 1821 г., когда, находясь в свите великой княгини Александры Федоровны во время ее поездки в Германию, поэт наблюдал дворцовую постановку «живых картин» на сюжеты «восточной повести» Т. Мура (подробнее об этом см.: А л е к с е в. Ук. соч., с. 658–663). Впечатления от этого пышного празднества, где его августейшая ученица изображала Лалла Рук, были так сильны, что вызвали к жизни не только перевод из Мура, но и целый цикл стихов, связанных с темой «Лалла Рук» («Лалла Рук», «Явление поэзии в виде Лалла Рук», «Пери», «Песнь бедуинки», «Мечта»); Жуковский даже издавал для своей ученицы рукописный журнал под названием «Лалла Рук». Академик М. П. Алексеев убедительно показал, что все перечисленные стихи (за исключением «Лалла Рук») являются вольными переводами главным образом немецких текстов Шпикера, писанных им по мотивам поэмы Мура для исполнения во время представления «живых картин». В частности, «Песнь бедуинки», относившаяся многими исследователями к оригинальным произведениям Жуковского, довольно близко воспроизводит песнь Нурмагалы из «Света Гарема», четвертой вставной поэмы из «Лалла Рук», переве-

денной Жуковским через посредство немецкого переложения Шпикера «Романс Нурмагалы», что становится очевидным при сопоставлении английского, немецкого и русского текстов:

Fly to the desert, fly with me,
Our Arab tents are rude for thee;
But oh! The choice what heart can doubt
Of tents with love, or thrones without?

In die Wüste flieh mit mir!
Glänzt Dir gleich kein goldner Thron,
Findest Du, O König, schon.
Dort ein Herz, das treu Dich liebt,
Gern sich Dir zu eigen giebt!

В степь за мной последуй, царь!
Прока там ты не найдешь,
Но найдешь мою любовь
И в младой моей груди
Сердце, полное тобой!

Вполне вероятно, что и при создании перевода «Пери и Ангел» Жуковский пользовался немецким текстом. В его библиотеке имелось издание: *Britische Dichter – Proben. № 1. Nach Thomas Moore und Lord Byron* (Leipzig, 1819) с многочисленными пометами, в числе которых был и подстрочный перевод стихов 22–43, 90, 408–409 из поэмы «Рай и Пери».

Поэма «Пери и Ангел» пользовалась большим успехом у публики, в том числе и в среде декабристов. (Ср. «Послание к Н. И. Гнедичу» К. Ф. Рылеева:

Так и Жуковский наш, любимый Феба сын,
Сокровищ языка счастливый властелин,
Возвышенного полн, Эдема пышны двери
В ответ ругателям открыл для юной пери.)

В то же время известны отрицательные отзывы о «Лалла Рук» А. С. Пушкина, которому не нравился цветистый, восточный стиль Мура: «Жуковский меня бесит – что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся *Лалла-Рук* не стоит десяти строчек Тристрама Шанди» (Письмо

П. А. Вяземскому от 2 января 1822 г. – цит. по: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII. с. 34). Через несколько лет Пушкин в письме к тому же Вяземскому (конец марта – начало апреля 1825 г.) возвращается вновь к близким мыслям: «...знаешь, почему не люблю я Мура? – потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребячески и уродливо – ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. – Европейец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так и прелестен в Гяуре, в Абидосской Невесте и проч. →» (там же, с. 160).

В переводе Жуковский несколько притушил восточную экзотику, которая так раздражала Пушкина. Однако он, по меткому замечанию М. П. Алексеева, «придал этой восточной поэме особое сентиментально-романтическое обличье христианской окраски, которой лишен был английский подлинник» (Алексеев. Ук. соч., с. 676).

С полной достоверностью мы знаем, что имя Жуковского как переводчика «Лалла Рук» и «Шильонского узника» было известно Муру. Осталась дневниковая запись ирландского поэта, датированная 3-м января 1829 г.: «Прошелся в Бовуд, где обедал. Единственным новым человеком в компании был русский, имя которого мне никто не мог произнести. [...] Это очень разумный человек и весьма искусный в литературе Англии, как и всех других стран Европы. Сообщил мне, что существует два перевода моих «Ирландских мелодий» на русский язык и что у него есть с собой перевод моей «Пери», выполненный русским поэтом, который сопровождал нынешнюю императрицу во время ее визита в Берлин. [...] Русский показал мне перевод моей «Пери» в сборнике русских стихотворений, которые он переплел, чтобы читать во время путешествия. Мое имя по-русски превратилось в «Мурова», что значит «Мура», “ou” на конце, как в греческом, признак родительного падежа. [...] Он сказал, что в России есть две различные школы стиля: при этом одна отстаивает применение в поэтическом языке старославянских слов, а другая целиком стоит за новую и более чистую фразеологию. [...] Читал нам вслух большой отрывок из русской «Пери», которая звучала весьма музыкально». Иностранцем, чье имя Мур не мог произнести, был А. И. Тургенев, причем дневниковая запись Мура любопытно перекликается с дневниковыми записями самого А. И. Тургенева, сделанными им месяц спустя после первой встречи с Муром: «20 февр. Встретился с Th. Мооге в Атене, просил дать записку о переводчиках Байрона в России. Написал о Жуковском, Пушкине, Козлове, Вяземском»; «21 февраля. Отдал ему сию записку в Атене, где мы условились встретиться».

«Лалла Рук» в оригинале изобилует авторскими сносками, придающими ей некоторую филологическую тяжеловесность. Жуковский перевел многие из них, однако некоторые опустил. Ниже даются примечания Мура, переведенные Жуковским:

Однажды Пери молодая – *Пери* – воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходящие людей, не живут на небе, но в цветах радуги и порхают в бальзамических облаках; питаются одними испарениями роз и жасминов и подвержены общей участи смертных. Индейцы и другие восточные народы представляют их себе в виде женщин, коих отличительные свойства составляют красота и благовонность.

Свежа долина Кашемира – *Кашемир* – озеро, усеянное множеством островов, из коих на одном растут платановые деревья, от которых оно и назван *Шах-Шеймур*.

Быстрее звездных тех мечей – Магометане думают, что падающие звезды суть огненные палицы, коими добрые ангелы отгоняют злых, дерзающих приближаться к небесной области.

Я знаю тайны Шильминара – сорок столпов. Так персияне называют развалины Персеполя. Полагают, будто дворец в нем и все здания в Баалбеке построены гением для сохранения многочисленных сокровищ в их подвалах, которые и донныне там находятся.

Там острова благоуханий – острова Панхария.

Сосуд Ямшидов золотой – чаша Ямшида, найденная, как полагают, в развалинах Персеполя.

Властитель Газны, вихрь войны – Махмуд Газна, или Газни, завоевал Индию в начале XI столетия.

На псов своих навесил он – Повествуют, что султан Махмуд сохранил 400 серых лягавых собак. На каждой из них был ошейник, украшенный дорогими камнями, и покрывала, обшитые золотою бахромою с жемчугами.

Стремится – и к горам Луны – горы Лунные, в древности *montes Lunae*. При подошве их полагают источник Пила.

И великан новорожденный – Нил, известный в Абиссинии под названием Абеи и Алави, т. е. великан.

Розетты знойною долиной – Сады Розетты наполнены голубями.

На пеликановых крылах – О пеликанах на Меридовом озере упоминает Савари.

Печально-тихая султана – Султана – прекрасная птица, названная так по ее величавости и блестящему синему цвету перьев; нос и ноги у ней также синие. Она служила украшением храмов и дворцов у греков и римлян.

Гиена лишь, бродя всю ночь – Жаксон упоминает о моровой язве, случившейся в восточной Аравии во время его там пребывания. Птицы в сие время удалялись от человеческих жилищ, гиены, напротив того, приходили на кладбище.

И умирает в сладкопенье – Феникс – баснословная птица, которая, прожив тысячу лет, prepares себе костер и, пропев трогательную песню, машет крыльями и сгорает на нем от лучей солнечных.

В эдеме души пьют святые – На берегу квадратного озера находится тысяча чаш, составленных из звезд. Души, предопределенные наслаждаться вечным блаженством, пьют из них кристальные воды.

Отцизна розы Суристан – Ричардсон полагает, что Сирия получила свое название от Сюри (Suri), прекрасного и нежного рода розанов, которыми страна сия всегда славилась.

Веселые веретеницы – Брюс пишет, что число ящериц, которых он видел однажды во дворе храма Солнца в Баалбеке, простиралось до нескольких тысяч; что ими были покрыты камни его развалин, стены и земля.



На падший солнцев храм она – храм Солнца в Баалбеке.

Джордж Гордон Ноэл Байрон (1788 – 1824)

Первое упоминание Байрона в русской печати относится к 1815 г.: в журнале «Российский музей» (1815, ч. I, № 1, с. 37–42) была опубликована переводная статья о «Корсаре»: «Морской разбойник, в трех песнях, сочинение Лорда Байрона». Однако уже начиная со второго десятилетия XIX в. популярность Байрона в России становится огромна (см.: В. И. М а с л о в. Начальный период байронизма в России (критико-библиографический очерк). Киев, 1915). Знакомство Жуковского с произведениями Байрона относится к 1818 – 1819 гг. Об этом свидетельствуют письмо Д. Н. Блудова, датированное августом 1818 г. (см. наст. изд., с. 355), и письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 13 августа 1819 г. («По ночам наслаждаюсь Жуковским <...> по всем признакам он точно воскресает, и гений воскресения его есть Вугон, да и отдых ему на пользу <...> Я восхищался уродливым произведением Байрона: «Манфред», трагедия. Жуковский хочет выкрасть из нее лучшее») и от 22 октября 1819 г. («Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона»).

Однако о Байроне как талантливом английском поэте Жуковский узнал значительно раньше – из письма С. С. Уварова от 20 декабря 1814 г.: «Теперь у Англичан их только два: Walter Scott и Lord Вугон. Последний превышает, может быть, первого». Об увлечении Жуковского Байроном свидетельствует и его записка (без даты) А. И. Тургеневу: «Что же ты не присылаешь мне перевода моих стихов? Что же нет у меня Манфреда? Возьми его (если его отдал) у Козлова, также и Мазепу и доставь... Отвечай и все доставь через Перовского. Нельзя ли мне прислать всего Байрона своего на время» (Письма, ук. соч., с. 309).

Позднее в библиотеке Жуковского появилось несколько изданий Байрона – собрание сочинений на французском языке под редакцией А. Пишо (тт. 1–20, 1827–1830), «Чайльд-Гарольд», «Гяур» и «Паризина» на немецком, «Манфред» и «Лара» в оригинале.

Увлечение Байроном проходит два пика – рубеж 10 – 20-х годов, когда были созданы оригинальные произведения Жуковского, отмеченные печатью байронизма («На кончину ее величества королевы Виртембергской», «Узник», «Отчет о Луне»), переводы «Шильонского узника» и «Песни»; и начало 30-х годов, период, связанный с подготовкой к путешествию по Италии, чтением «Чайльд-Гарольда» и

замыслом оригинальной эпической поэмы в духе Байрона, которая упоминается в творческих планах Жуковского под названием «Италия». Вероятно, к этому неосуществленному замыслу относится запись, сделанная по-французски на лицевой стороне обложки третьего тома сочинений Байрона под редакцией А. Пишо: «Je le vois devant moi ce chemin; ces Alpes qui cachent l'Italie, un monde fantastique à travers eux passe ce chemin; la Nuit tout puissant m'attire. Un genie m'apparait, il était de ce monde et sa splendeur. <нрзб.> Annibal et Souvoroff et Napoleon. – St. Bernard, Mont-Blanc et St. Gothard – Gênes Doria – Livourne – Florence. Les arts. Dante, Petrarque et Boccace – Machiavel – Rome – Campagne de Rome. Grandeur Romaine Panteon, Colonne de Traian, Colyse, S. Pierre. Les Barbares. Rome antique: Les Barbares, Charlemagne, les Papes, le Christianisme et la Superstition. Rome modern. Les bandits, les moines, les femmes. Tite Live et Horace. – Le Latium». Перевод: «Я вижу ее перед собой, эту дорогу, эти Альпы, которые укрывают Италию, фантастический мир, через который прошла эта дорога; Ночь всемогущая манит меня. Мне явился дух, он был судьбой этого мира. Я хочу идти по его стопам. Я представляю Венецию и ее блеск. <нрзб.> Ганнибал и Суворов и Наполеон – Сен-Бернар, Монблан, Сен-Готард – Генуя Дориа – Ливорно – Флоренция. Искусства. Данте, Петрарка и Боккаччо – Макиавелли – Рим – Римская Кампания – Величие Рима. Пантеон, Траянская колонна, Колизей, Святой Петр. Варвары. Рим античный: Варвары, Карл Великий, Папы, Христианство и Суеверие. Рим современный. Бандиты, монахи, женщины. Тит Ливий и Гораций. – Лациум». Ниже, через интервал в 2 сантиметра, по-русски записано: «Если бы кто жил в это время» (цит. с соблюдением орфографии Жуковского по: Э. М. Ж и л я к о в а. В. А. Жуковский – читатель Байрона // Библиотека Жуковского в Томске, ч. II, с. 446).

Судя по всему, к этому же периоду относится перевод части 49-й строфы IV песни «Паломничества Чайльд Гарольда». Запись была обнаружена томскими исследователями библиотеки Жуковского на нижней части 40-й страницы третьего тома французского издания сочинений Байрона. Освобожденная от черновых помет, она выглядит так:

Вот здесь Богиня любит в камне
И воздух вкряг <ея> растворен красотой,
С дыханием в себя мы благовонный
Вбираем образ, который созерцаем,
Бессмертья своего нам уделяет
Полуотдернуто <небесное>
Покрывало;

Эти строки соответствуют следующему фрагменту оригинала:

There, too, the Goddess loves in stone, and fills
 The air around with beauty; we inhale
 The ambrosial aspect, which, beheld, instils
 Part of its immortality; the veil
 Of heaven is half undrawn;

Жуковский не воспроизвел спенсорову строфу оригинала, возможно, потому, что перед глазами у него был прозаический французский перевод: «C'est ici que la déesse de Paphos aime sous le marbre et remplit l'air qui l'entoure de l'éclat de sa beauté. Le regard dévore ses formes divines, dont l'aspect nous communique une 'partie de son immortalité; le voile des cieux est à demi soulevé pour nous» (см. подробнее: Э. М. Ж и л я к о в а. Ук. соч., с. 447–449).

В свою очередь Байрон был знаком с творчеством Жуковского, представленным в «Российской антологии» Дж. Бауринга (см. коммент. на с. 324). В письме к Т. Муру от 27 декабря 1823 г. Байрон называет Жуковского «русским соловьем» («Russian nightingale»). Особенно привлекало английского поэта, сражавшегося в то время в Греции, патриотическое стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов». В цитированном выше письме Муру Байрон пишет: «Если лихорадка, истощение, голод или что-либо иное оборвет внезапно немолодые годы вашего собрата-певца, пошедшего по стопам Гарсиласо де ла Веги, Клейста, Вернера, Жуковского, Терсандра или еще кого-нибудь, – это неважно, прошу вас помянуть меня вашими улыбками и вином» (цит по: А л е к с е в. Ук. соч., с. 218).

ПЕСНЯ. – Большинство исследователей (В.Белинский, К.-К. Зейдлиц, А. Веселовский) датируют стихотворение 1820 г., но есть и другие версии, согласно которым оно относится к 1822 г. (Е. В. Петухов); впервые опубликовано в журнале «Сын отечества», 1822, № 15, с. 35.

К.-К. Зейдлиц утверждает, что «эта песня, очевидно, была внушена поэту его главной работой того времени [«Орлеанской девой». – К. А], и монолог «Орлеанской девы» представляет тот же самый размер стихов» (К.-К. З е й д л и ц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, с. 129).

«Песня» является вольным переводом стихотворения «Стансы для музыки», датированного мартом 1815 г., впервые опубликованного в 1816 г. и посвященного памяти Дорсета – товарища Байрона по шко-

ле в Харроу. Байрон называл стихотворение «печальной песней», «самой правдивой, хотя и самой грустной из всех, что он написал».

Эпиграф на латыни, опущенный Жуковским, взят из Грея, который в молодости писал стихи на латыни; в русском переводе он звучит так:

Источник слез, глубоко таящийся
В сердцах, не чуждых любви! Четырежды
Блажен, в ком бьет с неизменной силой
Чистый твой ключ, всеблагая нимфа.

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК. – Начато 4 сентября 1821 г., закончено в начале апреля 1822 г.; впервые опубликовано отдельным изданием: «Шильонский узник, поэма лорда Байрона. Перевод с английского В. Ж.», СПб., 1822, с посвящением: «Князю П. А. Вяземскому. От переводчика».

Издание печаталось Н. И. Гнедичем, на фронтисписе была гравюра А. Ухтомского картины И. Иванова по наброску А. Н. Оленина. В верхней части гравюры – вид Шильонского замка, а в нижней – вид темницы. По сохранившимся письмам и запискам Жуковского Гнедичу можно судить о том, с каким вниманием Жуковский входил во все детали издания: «Комиссия для Николая Ивановича Гнедича от чертописца Жуковского. 1. Принять под свое покровительство экземпляры Шильонского Узника. 2. Позаботиться о виньете и оттиске ее. 3. По получении оттиснутой виньеты велеть переплести экземпляры: а) на веленовой бумаге: 10 в лучшую бумажку, остальные в хорошую цветную; б) на простой: переплести сотню в порядочную простую бумагу, остальные оставить в листах и продать. 4. Из веленовой прислать мне 60 экз. и в том числе и 10 отборных; остальные раздать по прилагаемой записке. 5. Отдав Гречу и Воейкову их экземпляры, попросить их об объявлении, но только с тем, чтобы не делать больших цитатов». Другая записка: «Мне очень жаль, что я вчера тебя не застал, любезный Гнедок, надобно бы было слово сказать о виньете. Виват, наши благословенные русские артисты. Проработают долго и сделают дурно! Не говоря о красоте работы, я желал бы поправить одно в Бонниваровой тюрьме; поэт описывает ее темною, освещенною бледным, ненароком в нее заронившимся лучом; а здесь явились какие-то два огромные окна, подобные церковным; нельзя ли как можно более поубавить света и чтобы на полу был простой отблеск, а не целые огромные окна. Но с сей поры даю тебе слово не выдавать ничего с виньетами – скука непомерная». Однако это пожелание Жуковского явно не было уч-

тено: на гравюре темница напоминает интерьер храма с готическими арками и стрельчатыми окнами, а не сырой и темный склеп, находившийся ниже уровня Женевского озера.

К периоду издания «Узника» относится и «Шуточная записка Гнедичу», в которой упомянут Алексей Николаевич Оленин:

Сладостно было принять мне табак твой, о выпранный Гнедич!
Буду усердно, приявши перстами, преддвериям жадного носа
Прах сей носить благовонный и, сладко чихая, сморкаться;
Будет платкам от него помаранье, а носу великая слава!
Где ты сегодня? Что Алексей Николаевич? Лучше ль
Стало ему? Постараюсь ныне с ним видеться утром.
Если бы ты, Николай, взгомоздился зайти по дороге за мною,
Вместе б пошли мы, дорогой вещая крылатые речи друг другу.

Наконец, уже после выхода «Узника», Жуковский пишет все тому же адресату: «Что «Узник»? Любезный Гандишь! ты теперь сделался тюремщиком. К тебе приехал, говорят, с Кавказа другой прекраснейший узник [«Кавказский пленник» Пушкина, которого издавал тогда же Гнедич. – К. А.], которому дай ко мне прогуляться хотя на поруку; а моего продай! Как хочешь, все хорошо».

В предпосланной поэме заметке Жуковский использовал примечания Байрона и свои собственные впечатления от посещения 3 сентября 1821 г. Шильонского замка (XII–XIII вв.), расположенного на Женевском озере между Клараном и Вильнёвом. Приведем выдержки из письма поэта великой княгине Александре Федоровне, относящиеся к этому событию: «В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок Шильон; я плыл туда, читая the Prisoner of Chillon, и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бонниварову, которую Байрон весьма верно описал в своей несравненной поэме» (Полн. собр. соч. СПб., 1902, т. XII., с. 17). В 1833 г. Жуковский посетил вторично эти места и вновь вернулся мыслями к Байрону: «Мой дом в поэтическом месте, на самом берегу Женевского озера, на краю Симплонской дороги: впереди Савойские горы и Мельерские утесы, слева Монтре на высоте и Шильон на водах, справа Кларан и Веве. Эти места напомнят тебе и Руссо, и Юлию, и Байрона. Для меня красноречивы только следы последнего: в Шильоне, на Бонниваровом столбе вырезано его имя, а в Кларане у самой дороги находится простой крестьянский дом, в котором Байрон провел несколько дней и из которого он ездил в Шильон [...] По той дороге, по которой, вероятно, гулял здесь Байрон, хожу я

каждый день, или влево от моего дома к Шильону, или вправо через Кларан и Вева» (Письмо к И. И. Козлову от 27 января 1833 г. – Цит. по: Собр. соч. в 4-х тт. М.–Л., 1960, т. 4, с. 599–600). А. И. Тургенев в письме к П. А. Вяземскому от 9 июля 1833 г. вспоминает о том же периоде: «Из своих окон Жуковский указал мне дом, где жил Байрон в виду озера и Кларанса. Вечеру ездил в Шильон, сходил в его сырое подземелье, снова постучал кольцом, к коему прикован был Боннивар: истории его не знал Байрон и подражал эпизоду Уголина, заключенного в Пизской тюрьме [...] На одной из колонн в тюрьме Байрон вырезал свое имя: под ним русские читают имя его переводчика – Жуковский; далее какой-то Толстой и легионы неизвестных...» (Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским. Пг., 1921, т. I., с. 236–237).

Перевод Жуковского стал событием в литературной жизни того времени. Известен восторженный отзыв о нем Пушкина в письме Н. И. Гнедичу от 27 сентября 1822 г.: «Перевод Жуковского est un tour de force [...] Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть...» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 48).

Высокую оценку перевода дал В. Г. Белинский: «Но – странное дело! – наш русский певец тихой скорби и унылого страдания обрел в душе своей крепкое и могучее слово для выражения страшных, подземных мук отчаяния, начертанных молниеносною кистью титанического поэта Англии! «Шильонский узник» Байрона передан Жуковским на русский язык стихами, отзывающимися в сердце как удар топора, отделяющий от туловища невинно осужденную голову...» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 209).

О значении перевода Жуковского для восприятия Байрона в России пишет и друг Пушкина П. А. Плетнев: «После прозаических переводов мы начали было с его [Байрона. – К. А.] именем соединять что-то странное, часто темное, а чаще ужасно-непонятное. Но, судя по переводу Жуковского, видно, что он прост, ясен и естествен... Переводчик, не имеющий одинакового таланта с автором, всегда будет дурным переводчиком, потому что он, постигнув мысль, не преобразит ее в свою – и передаст читателю слабо и холодно. Мы даже осмелимся решительно сказать, что переводить таким образом, как переводит Жуковский, все равно, что созидать» (П. А. Плетнев. Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. I., с. 67). Однако Байрон был поэтом, по своей творческой индивидуальности во многом

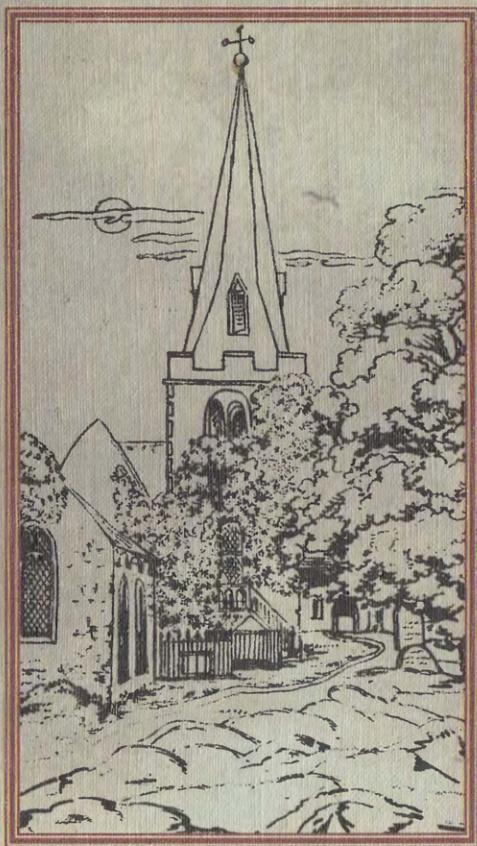
чуждым Жуковскому, что хорошо осознавал и русский поэт: «Многие страницы его вечны, но и в нем есть что-то ужасающее, стесняющее душу. Он не принадлежит к поэтам-утешителям», – писал Жуковский о Байроне («Русская старина», 1881, т. XXXI, с. 196). Еще более развернутую характеристику Байрона дает Жуковский в письме к Гоголю: «...обратим взор на Байрона – дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения. Его гений имеет прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающего своим помраченным величием; но у Мильтона эта прелесть не иное что, как поэтический образ, только увеселяющий воображение; а в Байроне она есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения. Но Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, его гений все имеет высоту необычайную (может быть, от того еще и губительней сила его поэзии): мы чувствуем, что рука судьбы опрокинула создание благородное и что он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти – перед нами Титан, Прометей, прикованный к скале Кавказа и гордо клянуший Зевеса, которого коршун рвет его внутренность» (Полн. собр. соч., т. X, с. 86).

В соответствии со своими творческими и мировоззренческими принципами Жуковский несколько изменил звучание Байронова стиха, притушил республиканский, вольнолюбивый дух поэмы и усилил в ней религиозные мотивы. Этим же, вероятно, объясняется и то, что Жуковский оставил непереверденным воспевающий Свободу «Сонет к Шильону», предпосланный поэме.

Байрон написал «Шильонского узника» 27–29 июня 1816 г. (окончательный вариант закончен 10 июля) во время своего пребывания в Уши близ Лозанны; поэма была опубликована 5 декабря 1816 г. отдельным изданием вместе с семью другими стихотворениями Байрона. Помимо «Сонета к Шильону» тексту поэмы было предпослано авторское предисловие, включающее справку о Бониваре из «Histoire littéraire de Genève» (1786) швейцарского натуралиста и историка Жана Сенебьера (1742–1809). Полный текст предисловия см.: Дж. Г. Б а й р о н. Сочинения в 3-х тт. М., 1974, т. 2., с. 25–27.

Six in youth – У исторического Бонивара было всего два брата.

К. Атарова



ISBN 5-05-004925-3



9 785050 049254

RUDOMINO
РУДОМИНО



Издательство
«РАДУГА»